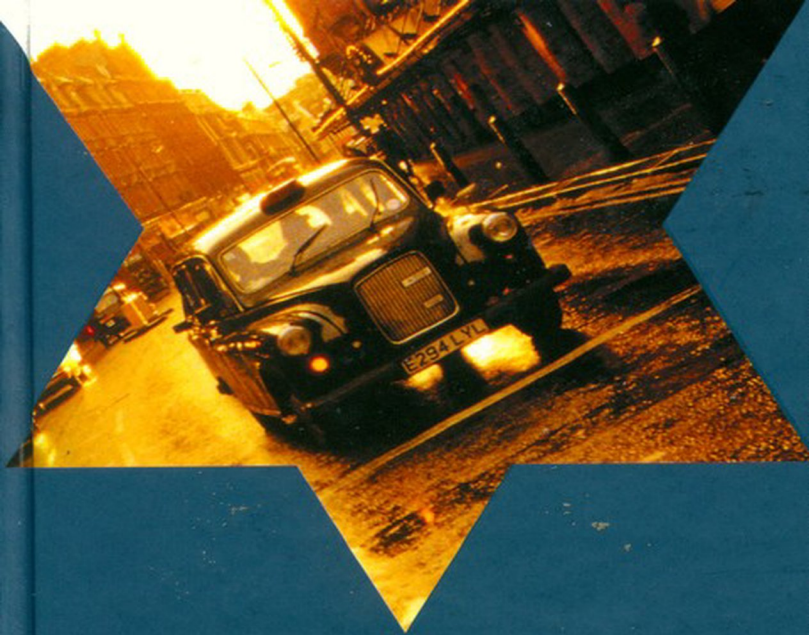


ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В ЛОНДОНЕ

Рассказы английских писателей

проза еврейской жизни

День рождения в Лондоне (Рассказы английских писателей)

Мюриэл Спарк, Рут Проуэр Джабвала, Брайан Гланвилл, Арнольд Уэскер, Клайв Синклер, Джонатан Уилсон

Аннотация
День рождения в Лондоне. Рассказы английских писателей
Мюриэл Спарк. Еврейка и нет. Пер. Е. Суриц
Рут Проуэр Джабвала. День рождения в Лондоне. Пер. Л. Беспалова
Брайан Гланвилл
Возмутительно. Пер. Л. Беспалова
Выжил. Пер. Л. Беспалова
Бравый спортсмен. Пер. Л. Беспалова
Арнольд Уэскер. Сказал старик молодому. Пер. В. Голышев
Год 1973
I
II
III
IV

V
VI
VII
Клайв Синклер. Нахалы и умники. Пер. В. Пророкова
Джонатан Уилсон
В свободный день. Пер. Л. Беспалова
Из Шанхая. Пер. Л. Беспалова
Коротко об авторах

Аннотация

В книгу вошли рассказы шести английских писателей разных поколений — от много печатавшейся в России Мюриэл Спарк до пока неизвестных у нас Рут Джабвалы и Джонатана Уилсона. Их рассказы о жизни английских евреев в двадцатом веке отличает тонкий психологический анализ и блестящий юмор, еврейский и английский одновременно.

День рождения в Лондоне
Рассказы английских писателей

Мюриэл Спарк
Еврейка и нет
Пер. Е. Суриц

Как-то раз в лавку к моей крошке-бабушке зашел сумасшедший. Я вот говорю — крошке-бабушке, но это исключительно из-за ее роста и размеров ее мира в квадратных метрах — махонькая лавка со всякой всячиной, за лавкой зальце, а за ним кухня с каменным полом, и две спальни у бабушки над головой.

— Я тебя убью, — сумасшедший говорит, раскорячился в дверном проеме, темные лапищи свои поднял, сейчас набросится, задушит. И глаза горят из пущи бороды и бровей.

Улица была пустынна, бабушка в доме одна. Годами, без конца слушая эту историю, я считала, что сама стояла тогда рядом с бабушкой, но она говорила — нет, меня тогда еще и в помине не было. Сцена отпечаталась, как пережитая. Сумасшедший — он правда сбежал из дурдома в огромном парке поблизости — воздел волосатые лапищи, пальцы скрючил — задушит. А на улице никого — только солнечный свет.

И он говорит:

— Сейчас я тебя убью.

Она руки сложила на белом фартуке, а тот был на черном фартуке, стоит и смотрит прямо на него.

— Ну и тебя подвесят, — она говорит. Он повернулся и зашаркал прочь.

Тут следовало сказать «повесят», помню, при одном исполненье истории я так и заметила бабушке. Но она отрезала, что для такого недоноска и «подвесят» будет в самый раз. Ее не впечатлило мое замечание, зато меня так впечатлил ее рассказ, что часто потом я говорила «подвесить» вместо «повесить».

Я так ясно вижу это происшествие у себя в памяти, даже трудно поверить, что я только слышала про него; но меня правда тогда еще не было. Дедушка тогда был молодой человек, на пятнадцать лет моложе жены, семья от него отказалась из-за того, что он на ней женился. Он что-то там пошел устраивать насчет саженцев, когда появился тот сумасшедший.

Бабушка за него вышла исключительно по любви, охотилась за ним, гонялась, загнала его и за него вышла, он такой был красивый и бесполезный. Бабушку ничуть не смущало, что всю жизнь

пришлось «пахать» на него. Была она поразительно некрасивая, даже неловко смотреть. На истинной моей памяти, когда уж они были давно женаты, он иногда приносил ей розу из сада, а то подкладывал подушки под голову, под ноги, когда между двумя и тремя она устраивалась в зальце на диване. Скрести прилавок — это нет, это он не умел, зато он умел обращаться с собаками, с птицами в саду, и еще он фотографировал для своего удовольствия.

Он говорил бабушке:

— Встань-ка у георгинов, я тебя сниму.

Лучше б это она умела его снимать, потому что волосы у него были такие золотые даже тогда, и точеные черты, и блестящая борода. А у нее был нос картошкой и желтая кожа, очень прямо смотрели яркие, карие глаза, и тускло-черные волосы она стягивала в кукиш на затылке. Вроде белой негритянки; и даже не старалась себя приукрасить, разве что дождевой водой умывалась.

Она родилась в Степни. Мать у нее была не еврейка, отец еврей. Отец, она говорила, был знахарь по профессии, и этим она гордилась, уверенная, что исцеление зависит от умелого обращения целителя с пузырьками, а не от содержимого пузырьков. Я всегда требовала от

старших, чтобы они разыгрывали свои истории. Я говорила:

— Ну покажи, как он это делал.

С большой готовностью она подавалась вперед в кресле и протягивала мне невидимый пузырек. «Прошу, голубчик, — она говорила, — теперь ты горя не будешь знать, только следи за стулом». «Всех лекарств у отца и было — свекольный сок, — она говорила, — насчет обхождения, насчет наклеек, тут он очень старался, а пузырьки стоили по три пенса за гросс. Много болезней и болей исцелил мой отец, а все своим прекрасным обхождением».

Это тоже утвердилось в моей памяти, я считала, что своими глазами видела дивного знахаря-доктора, который умер, когда меня еще не было. Я его вспоминала, глядя, как дедушка, с прекрасным обхождением, пользует крошечной дозой лекарства из синей бутылочки какую-нибудь пеструю птаху. Он ей открывал пальцем клюв и ронял каплю. Весь наш садик загромождали конуры, парники, сарайчики для птиц и цветочных горшков. Как-то раз он назвал меня пташечкой и поставил у кирпичной стены, чтобы меня снять. Сад на фотографии был великолепен. Возможно, своими снимками дедушка воскрешал более

пышный сад своей юности, откуда его изгнали в отместку за женитьбу на бабушке, когда меня еще и в помине не было.

Когда он умер, а бабушка переехала к нам, както я у нее спросила:

— Ты еврейка, бабушка, или нет?

Мне было интересно, как ее похоронят, по какому обряду, когда придет ее час.

— Я еврейка и нет, — сказала она.

Все время, пока держала в Уотфорде лавку со всякой всячиной, она не хотела, чтобы знали о ее еврейской примеси, потому что это плохо для бизнеса. Она изумилась бы, если б ей намекнули, что это малодушно, что это дурно. Все, что разумно, все, что полезно для бизнеса, с ее точки зрения, — было угодно Всевышнему. Она крепко верила во Всевышнего. Я никогда не слышала, чтоб она упоминала имя Божие иначе как в сочетании «Боже упаси». Она была членом Союза матерей при англиканской церкви, присутствовала на всех сходках методистов, баптистов и квакеров. Это было весело, это было полезно и приятно для бизнеса. В церковь по воскресеньям она никогда не ходила, разве что на особые службы, скажем, в День поминовения. Только раз она поступила против собственной совести, когда участвовала

в спиритическом сеансе, — из чистого любопытства, бизнес тут был ни при чем. И там ей на ногу свалилась скамья, она целый месяц хромала — так ее наказал Всевышний.

Я с пристрастием допрашивала ее про спиритов.

— Они нарушают покой мертвых, — сказала она. — А Всевышнему не нравится, чтоб мертвых тревожили, пока они не готовы.

А потом она мне рассказала о том, что произошло со спиритами, когда уже годы и годы пролетели над их головой.

— Они бежали по садовой дорожке, оглянулись через плечо, содрогнулись и кинулись обратно. Не иначе духов увидели.

Я взяла бабушку за руку и вывела в сад, чтобы она показала мне, что делали спириты. Она бодро затрусила по тропе, подобрав юбки, оглянулась, сверкнула глазами, кошмарно содрогнулась, еще выше подобрала юбки — над черными чулками вскипели белые оборки исподнего — и, запыхавшись, бросилась обратно ко мне. Дедушка вышел поглядеть, в чем дело, вздернул среди веснушек рыжие брови.

— Прекрати свои штуки, Аделаида, — сказал он бабушке.

И бабушка все проделала снова с леденящим душу воплем: «А-а-а-а!»

Обшаривая лавку, взгромоздясь на два пустых ящика из-под шипучки, на одной верхней полке я обнаружила старые пачки свечей, обернутых в увлекательную с виду литературу. Я расправила листы и прочла: «Голосуйте за женщин!», «Зачем вы угнетаете женщин?» Следующая пачка свечей была завернута в еще более крупный лист, на котором красовалась старомодная, но воинственная особа, она размахивала «Юнион-Джеком» и произносила: «Я вступаю в ряды суфражисток». Я спросила у бабушки, откуда эти газеты, она никогда ничего не выбрасывала, а значит, хранила их для какой-то другой надобности, прежде чем пустить на обертку свечей, когда меня еще не было. За нее ответил дедушка, и он настолько забыл всю свою деликатность, что брякнул:

— Миссис Панкхерст[1] на всю Европу показывает жопу.

— Удивляюсь я на тебя, Том, — сказала бабушка, — как это можно? И при ребенке!

Дедушка продолжал ухмыляться собственному

---

[1] Примечания: 1

Эммелин Панкхерст (1858–1928) — глава движения суфражисток; в 1903 году организовала социально-политический Союз женщин. (*Здесь и далее примечания переводчиков.*)

остроумию. Так в один день я узнала новое слово и про то, что моя бабушка вместе с другими женщинами маршировала по главной улице Уотфорда, вся разодетая, и еще я узнала, как относится к этому дедушка. Я как будто своими глазами видела бабушку, с флагом, в солнечном блеске, с подругами, и как при каждом шаге вспыхивало у нее над щиколотками белое кружево. Несколько лет мне не верилось, что я не видела своими глазами, как по главной улице Уотфорда маршировали женщины и бабушка неслась впереди, когда меня еще не было. Так и вижу, как ее черная шляпка посверкивает на солнце.

В Уотфорд приехали какие-то евреи и открыли велосипедную лавку неподалеку от бабушкиной. Она не желала с ними знаться. Польские иммигранты. Она их называла «полячишки». Я спросила, что это такое, и она ответила — «иностранцы». Как-то мама-иностранка подошла к двери своей лавки, когда я проходила мимо, и протянула мне гроздь винограда. «Кушать», — сказала она. Потрясенная, я кинулась к бабушке, и она мне все объяснила:

— Я ж тебе говорила, что иностранцы чудные.

В домашнем кругу она хвасталась своей еврейской кровью, благодаря которой уродилась такая

умная. Я усвоила: когда ты такая умная, тебе даже незачем быть красивой. Она хвасталась, что ее предки со стороны отца перешли через Чермное море; Всевышний простер руки, раздвинул море, и они прошли из Египта по суше. И Мириам, сестра Моисея, била в тимпан и вела всех женщин через Чермное море, воспевая песню Всевышнему. Мне представилось, как девушки из Армии спасения, облитые солнцем, шли недавно по Главной улице и колотили в бубны. Бабушка подманила меня к двери, чтобы я поглядела, а когда вместе со своим грохотом они исчезли вдали, она отвернулась от двери и всплеснула над головой руками — отчасти в порыве увлечения, отчасти их передразнивая. Она всплескивала руками. «Аллилуйя! — кричала бабушка. — Аллилуйя!»

— Прекрати свои штуки, Аделаида, голубка.

Присутствовала ли я при том переходе через Чермное море? Нет, это случилось, когда меня еще не было. Голова у меня была забита разными историями про греков, троянцев, пиктов и римлян, якобитов и якобинцев, и все они были определенно до моего рождения. Но когда в событии принимает участие твоя бабушка, это совсем другое дело. Так и вижу ее впереди, а за ней следом женщины, пляшут от радости, кричат

«Аллилуйя», вместе с миссис Панкхерст и Мириам, сестрой Моисея. Руки Всевышнего раздвигают воды морские. Бело вскипает бабушкино кружевное исподнее под черной юбкой чуть выше башмачков, как тогда, когда она бегала по садовой тропке, демонстрируя, как метались спириты. Что я видела своими глазами, что случилось, когда меня еще не было, — можно разобраться с помощью разума, но разум бессилен ни стереть отпечатленную сцену, ни умалить ее.

Тетки Салли и Нэнси, дедушкины сестры, нехотя с ним примирились когда-то такое, когда меня не было. Каждое лето меня посылали к ним в гости. Они теперь жили скромно, вдова с вековухой, небогатые обе. Занимались алтарными цветами, викарием. Я была еврейка и нет, как бабушка, потому что отец у меня был еврей, и тетки никак не могли взять в толк, почему же я не похожа на еврейку, как бабушка. Они говорили об этом прямо в моем присутствии, как будто я не в состоянии понять, что обсуждают мою внешность. Я уверяла, что похожа на еврейку, и отчаянно напирала на свои маленькие ножки. «У всех евреев ноги маленькие», — объявила я. Тетки приняли это на веру, не имея опыта по части евреев, и обе признали, что я обладаю этой еврейской чертой.

У Нэнси лицо было длинное, узкое, у Салли круглое. Всюду на маленьких столиках у них лежали, по-моему, подушечки для шитья. Каждое утро меня угощали анисовым тортом и чаем, и часы громко тикали в такт их молчанью. Я смотрела на плюшевую желто-зеленую мебель, полосатую от вечернего солнца за окнами, смотрела, смотрела, пока совсем не пропитывалась этой зеленой плюшевостью под молчание теток. Както, вернувшись домой к бабушке, я посмотрелась в зеркало, и оттуда на меня глянули мои глаза, вместо синих — желто-зеленые, плюшевые.

Однажды в такой вот вечер они упомянули, что мой отец инженер. Я им сообщила, что евреи все инженеры. Они были потрясены этим обстоятельством, в которое я и сама тогда почти верила, зная, впрочем, об отдельном отклонении в форме знахаря. Но вот Салли подняла взгляд и сказала:

— Но Лингены не инженеры.

Лингены были и не евреи, лютеране немецких корней, но в здешних краях не учитывались такие тонкости. Бабушка даже не признавала Лингенов за иностранцев, так как они не говорили на ломаном английском, что, впрочем, было довольно естественно в уроженцах Лондона.

Дочери этих Лингенов — лучшие мамины по-

други детства. Лотти у них пела, Флора играла на пианино, а Сюзанна была странная. Помню долгий вечер у них в доме — мама с Лотти пела дуэтом, Флора играла на пианино, а Сюзанна смутно маячила в дверях гостиной с такой улыбкой, какой я еще не видывала ни на одном лице. Я глаз не могла оторвать от Сюзанны, и мне досталось за то, что неприлично пялилась.

Когда маме и Лотти было семнадцать, они наняли пролетку, отправились на несколько миль за город, в кабак, и напились джина. Извозчику тоже выдали джина, и, забыв, что предполагалось держать вылазку втайне, через два часа вернулись, стоя в пролетке и голося: «Уотфорд мерзкий городишко, Уотфорд грязный городишко, скоро, скоро мы уедем из Уотфорда!» Они не желали прозябать в глуши, они хотели, чтоб их отослали куда-нибудь к родственникам. Скоро это осуществилось; Лотти вырвалась на просторы Лондона, мама уехала в Эдинбург. Мама рассказала мне, как они тогда голосили, как лошади их мчали в пролетке по Главной улице, и бабушка подтвердила эту историю, добавив, что происшествие было вредно для бизнеса. Так и слышу, как цокают копыта, вижу муслиновые пестрые платья валких девчонок в пролетке, хоть, собственно,

не видела ничего, кроме молочных фургонов, машин и автобусов, и девочки ходят по Главной улице в коротеньких юбках, и с древностью нас связывают только такие звенья, как старый Бенскин из «Пива Бенскина», который совершал по яркому тротуару утренний моцион и кланялся, проходя мимо бабушки.

— Я еврейка и нет.

Похоронили ее по еврейскому обычаю, потому что она умерла в доме у моего отца, — и были извещения в еврейских газетах. Одновременно тетки, дедовы сестры, оповестили в газетах Уотфорда, что она упокоилась во Христе.

Мама, как увидит новый, народившийся месяц, три раза ему поклонится, никогда не упустит случая, где бы она ни была. Я сама видела, как на людной улице, под холодными взорами трезвых пресвитериан, она, не обращая на них внимания, подбрасывала монетку, кланялась и пела: «Новый месяц, новый месяц, ты меня не обижай». На этот образ в памяти наплывает другой — пятница, мама зажигает субботние свечи, выпевает молитву на древнееврейском, который, как мне объяснили потом, был довольно странным древнееврейским. Но все равно, так она соблюдала праздник, так она чтила обычай. Она говорила,

что израильтяне из Библии с нею одно — из-за еврейской части ее крови, и я не подвергла сомнению этот волнующий факт. Она у нас вторая «еврейка и нет» после бабушки, так я считаю; я — третья.

Мама повсюду таскает в сумочке медальон с изображеньем Христа в терновом венце. На одном столе у нее довольно приличный Будда на листе лотоса, на другом — кошмарная Венера Милосская. Всем богам по серьгам. Но вера у мамы одна — во Всевышнего. Спросите у моего отца, какова его вера, и он вам ответит: «Я верую во Всевышнего, сотворившего небо и землю», и больше он вам ничего не скажет, снова уткнувшись в программки скачек, вернувшись к вопросам, волнующим невинные души. Для них не было большим потрясением, когда я приняла католичество, ведь будь ты хоть католик, хоть кто, никуда от Всевышнего ты не денешься.

Рут Проуэр Джабвала
День рождения в Лондоне
Пер. Л. Беспалова

Первым из гостей, даже слишком рано, пришел мистер Лумбик. С большим букетом, обернутым папиросной бумагой, в твидовом пиджаке с кожаными пуговицами, придававшим ему залихватский вид.

— С днем рождения, и очень много счастливых дней, — сказал он, склонясь над ее рукой и целуя ее с особой нежностью — такую манеру он усвоил с Соней.

Соню взбудоражил и его ранний приход, и эта его нежность: она не знала, как на нее реагировать. Она вспыхнула, отчего стала похожа на прелестную девчушку, принимающую первого в своей жизни ухажера.

— Мистер Лумбик, — сказала она, — ну что вы говорите? Какие дни рождения у такой старухи, как я.

— Ой-ой, — запротестовал он и схватился за уши — на солнце они просвечивали: до того он был лопоухий. — Когда вы так говорите, им боль-

но слушать!

Она рассмеялась — молодо, весело:

— Ох уж эти ваши шуточки, как вам не стыдно, мистер Лумбик.

— Одну маленькую милость ради дня рождения, — умолял он, вздымая мизинец. — Всего одну, совсем маленькую, от нашей новорожденной.

Она снова всполошилась. Надеялась, что он не попросит его поцеловать, хотя, пожалуй, именно этого и ожидала. Ей вовсе не хотелось целовать мистера Лумбика, не хотелось даже чмокнуть его в щеку — для чего пришлось бы пригнуться, — всегда, на ее вкус, плохо выбритую.

— Не мистер Лумбик, — упрашивал он. — Никогда больше мистер Лумбик. Карл. — Он склонил голову набок, моляще глядя на нее выцветшими глазками. — Хорошо? Карл. Такое красивое имя.

Она не ответила. Вместо ответа ушла на кухню, принесла Apfelstrudel[2] в комнату, где для гостей уже был накрыт стол. Мистер Лумбик следовал за ней по пятам на бесшумных каучуковых подошвах. На ответе он не настаивал. Он гордился тем, как хорошо понимает женщин, а с

---

[2] Примечания: 2
Яблочный пирог (*нем.*).

такой, как Соня, надо обходиться осмотрительно и тактично: она из хорошей семьи и воспитана в романтическом духе.

— А теперь я скажу сюрприз, — сказал он. — Вы порадуетесь узнать, что с этого дня мне подарили британское гражданство.

— Вот и хорошо, — сказала Соня: внимание ее было занято последними приготовлениями.

Она получила британское гражданство десять лет назад, и первые восторги уже подзабылись.

— Да, мне лично позвонили из Скотленд-Ярда. — И он изобразил, как набирает номер, подносит трубку к уху. — Алло, это Карл Лумбик? Вы теперь есть очень маленький член очень большого Британского содружества. Боже, храни королеву, Карл Лумбик! Боже, храни королеву, мистер Скотленд-Ярд! — И, изобразив, как кладет трубку, мистер Лумбик вытянулся по стойке «смирно».

Соня засмеялась:

— Какой вы смешной!

Он все обращал в шутку. Если бы Отто был хоть чуточку на него похож. Но нет, Отто все воспринимал трагически. Когда они получили британское гражданство, он и это воспринял трагически.

— Да, наши паспорта они нам дали, — сказал

он, — ну а что мы имеем, кроме наших паспортов?

— Оттоляйн! — взывала она к нему. — Радуйся!

А вот Карла Лумбика не нужно было уговаривать радоваться.

Он подпустил нежности в голосе:

— Так что теперь я есть, так я думаю, очень пригодный кавалер. — Тон не тот, он сразу это понял: она отвернулась, принялась поправлять обрамленную фотографию Отто на столике у изголовья ее кушетки. — Я опять, так я думаю, расстегнул свой большой рот слишком широко, — горестно сказал он.

И тут же настороженность ее покинула, и она — не в силах сдержаться — рассмеялась. Он всегда заставлял ее смеяться, такой он был комичный. Она старалась сохранить дистанцию, держаться вальяжно, но, по сути, как была, так и осталась все той же Соней Вольф, née[3] Ротенштейн. Ядреная резвушка — так о ней говорили. Ядреной она была всегда — крутая грудь, крутые бедра, а при всем том изящная: прекрасный, пышно распустившийся цветок на стройных стебельках ног, она если не смеялась, то готова была рассмеяться

---

[3] Примечания: 3
Урожденной (*фр.*).

— ее верхняя вырезная губка вечно подрагивала, приоткрывая безукоризненные зубы.

Раздался звонок, мистер Лумбик, что твой дворецкий, заскользил к двери.

— Входите, входите, — сказал он, изогнувшись в низком поклоне, — Apfelstrudel очень удачный.

— А где у нас новорожденная? — гаркнула миссис Готлоб, голос у нее был осиплый, безапелляционный.

Уж кому-кому, а Соне ее голос был даже слишком хорошо знаком: не счесть, сколько раз она слышала, как миссис Готлоб орала, что они не выключили свет или не вымыли за собой ванну; Отто, услышав ее крик, бледнел, сникал, и Соне ничего не оставалось, как сойти вниз и пустить в ход все свое обаяние, со всем согласиться, всему поддакнуть, лишь бы миссис Готлоб замолчала и прекратила расстраивать Отто. Но теперь, разумеется, все в прошлом, и миссис Готлоб теперь уже не домохозяйка, а подруга.

Войдя, миссис Готлоб одарила Соню звонким поцелуем и коробкой шоколада.

— Поцелуй — от любви, шоколад для еды, — сказала она.

Большая расписная коробка была обвязана синей атласной лентой. Точно такие же в Берлине

чуть ли не каждый день дарил ей Отто. Плутовски спрятав коробку за спину, он прокрадывался на цыпочках в малую гостиную — так у них называлась комната, где она обычно сидела за секретером: писала письма, отвечала на приглашения, — и, блаженно улыбаясь, говорил:

— А ну-ка посмотрим, какой приятный сюрприз мы для нас припасли.

И она вскакивала — ядреная, ладная, непосредственная:

— Ой, Отто!

— Ну и как, — миссис Готлоб села, захрустев костями, и охнула, — ну и как мы себя чувствуем в свои двадцать пять?

— Как, уже двадцать пять, так не может быть! — мистер Лумбик даже руками всплеснул от удивления.

— Моему младшенькому, моему Вернеру, и то скоро двадцать шесть, — сказала Соня, — говоря о детях, она не могла сдержать улыбки: так ими гордилась.

— Ну и где же он сегодня в день рождения Mutti?[4] — вопрошала миссис Готлоб. — Не иначе как с подружками? — И она погрозила оплывшим

---

[4] Примечания: 4
Мамочки (*нем.*).

от жира пальцем. — Знаю я вашего Вернера — он проказник.

— Кто не проказник в двадцать пять? — сказал мистер Лумбик. Он улыбнулся своим воспоминаниям. — Справьтесь в Вене, каким был Карл Лумбик в двадцать шесть — о-ля-ля. — И он покачал головой, воскрешая в памяти и барышень, и кафе, и Карла Лумбика в лихо заломленной шляпе и пальто верблюжьей шерсти.

— Справьтесь в Лондоне, какой Карл Лумбик в пятьдесят шесть, — отрезала миссис Готлоб, — и ответ будет такой же, только теперь он уже не молодой, а старый шалопай.

— Вы даете мне плохую репутацию, — сказал мистер Лумбик, поглаживая лацканы пиджака и раскачиваясь на каблуках, — он был, пожалуй, даже польщен.

— Я сегодня получила письмо от моей Лило, — сказала Соня. — Она поздравляет меня с днем рождения, и подумать только — письмо пришло точно, день в день, а ведь из какой дали шло, из Израиля. Она и фотографии прислала, такие славные. — И она взяла письмо с каминной полки, где оно стояло на видном месте, и показала миссис Готлоб фотографию Лило, ее мужа — дочерна загорелые, коренастые земледельцы, в рубахах с

расстегнутыми воротами, с закатанными рукавами, — и их белокурого голого малыша.

— Ну до чего же мил, — проворковала миссис Готлоб, глядя на фотографию. — И как похож на вашего Вернера: я же помню, когда вы у меня поселились, он в четыре года имел такие же волосы.

Мистер Лумбик заглядывал миссис Готлоб через одно плечо, Соня — через другое.

— Что-то в нем есть и от моего дорогого папы, да будет земля ему пухом, — сказала Соня и вздохнула, вспомнив отца, рослого здоровяка, красавца, любителя пожить в свое удовольствие, погибшего в Освенциме. — И еще я нахожу сходство — а вы не находите? — спросила она с робкой надеждой, — с моим дорогим Отто, вот посмотрите — глаза, лоб, у Отто всегда был такой красивый лоб.

Мистер Лумбик скосил глаза на фотографию Отто у изголовья кушетки. Красивый лоб, подумал он: Отто всегда был лысый, как коленка, вот вам и красивый лоб. Он помнил Отто Вольфа лысым, все усыхающим шибздиком, вечно усталым, вечно хворающим, в дорогом, болтавшемся на нем, как на вешалке, халате, вывезенном из Германии. Мистер Лумбик всегда считал, что

Соня заслуживает лучшего мужа — такая она замечательная. Хотя конечно же в Берлине Отто Вольф был фабрикант, богач, и судить об Отто по тому, каким он стал в последние свои годы — бедным, безработным беженцем, не говорящим по-английски, — нельзя.

— Да, не исключено, что и на нашего дорогого мистера Вольфа, — сказала миссис Готлоб, вглядываясь в малыша. — А какой он был джентльмен. Лумбик, я всегда говорила, такого джентльмена, как мистер Вольф, я в пансионе больше не видела.

На реснице у Сони повисла слезинка, но она радостно улыбалась. Какая она славная, эта миссис Готлоб! Соня всегда убеждала Отто, что миссис Готлоб, пусть она и горластая, и грубая, все равно хорошая. Но Отто был такой ранимый, он никак не мог освоиться здесь. Слезинка покатилась у нее по щеке, она вытерла ее платком с монограммой «С».

— Да, миссис Готлоб, — сказала она, — всем нам никогда больше не увидеть такого джентльмена до кончиков ногтей, как мой дорогой Отто, да будет земля ему пухом. Если б вы знали его в Германии, когда у него была и фабрика, и вилла в Шарлоттенбурге, — вот тогда бы вы его еще и

не так уважали!

Всегда щеголеватый, всегда подтянутый, в прекрасно сшитом костюме из лучшей английской материи, поверх туфель ручной работы — гамаши, пахло от него дорогим одеколоном. И за все время в Германии — начиная с того года, когда они познакомились: ей тогда было семнадцать, ему тридцать шесть, и вплоть до 1938-го, когда им пришлось уехать, — он ничуть не изменился, каким был, таким и остался, миниатюрным, лысым, румяным, элегантным. А вот в Англии он враз состарился и почти не вылезал из халата.

Миссис Готлоб испустила тяжкий вздох, и ее раздавшиеся из-за нарушенного обмена веществ телеса заколыхались.

— Да, там мы все были другие. — И, вспомнив мясную лавку Готлобов — лучше их ливерной колбасы во всем Гольденкирхене было не найти, — она снова вздохнула. — Пусть так, но все мы здесь и все еще живы, ну, что вы на это скажете, Лумбик? А вот, должно быть, и Эльзе, — сказала она: в дверь снова позвонили.

Крохотуля Эльзе, — поперек себя шире, — запыхавшись, влетела в комнату, полы пальто развеваются, из седого пучка торчат — вот-вот попадают на пол — шпильки, под мышкой — объ-

емистая кожаная сумка.

— Видите, я опять опоздала, — сказала она. — А что я могу поделать? Всегда одно и то же: работа, работа, спешка, спешка. Эльзе то, Эльзе се — каждый день в пять часов я готова подать заявление об уходе. — Она положила сумку, принялась поправлять прическу, мистер Лумбик подошел, помог ей снять пальто. Эльзе подозрительно посмотрела на него: — А вы, Лумбик, снова надо мной шутите? — И, не переводя дух, продолжала: — Нет, вы подумайте, сегодня уже половина пятого, а она мне говорит: «Эльзе, еще одно небольшое дельце, надо укоротить юбку для очень важной клиентки». — «Миссис Дейвис, — говорю я, — уже половина пятого, меня пригласили на день рождения в Суисс-Коттедж ровно на половину шестого…»

— Хватит мелить языком, — оборвала ее миссис Готлоб, — пожелали бы лучше что-нибудь новорожденной.

Эльзе схватилась за голову:

— Вот видите, все, буквально все выпало у меня из головы… да что ж это я, ведь я имею подарок! — Она принялась рыться в бездонном нутре своей сумки, но вынималось все не то: ключи, снизка булавок, тюбик аспирина. Наконец письмо на-

шлось, и, достав его, она возгласила: — Я спешу рассказать, какие у меня новости!

Конверт был с немецкой маркой. При виде письма с иностранной маркой Соня, как всегда, встревожилась.

— Надеюсь, хорошие новости? — спросила она.

— Хорошие, очень-очень хорошие — я получаю компенсацию! Десять тысяч марок.

— Эльзе, это же замечательно!

Миссис Готлоб выхватила у Эльзе письмо, прочла.

— Надо было просить двадцать, — заметила она.

На компенсациях она собаку съела. Все ее друзья, все ее жильцы уже получили из Германии компенсации за свои утраты; да и сама она получила неплохие деньги за мясную лавку. Соня, разумеется, получила больше всех, но ведь и семья ее потеряла больше всех. Теперь Соня снова стала богачкой, но так, собственно, и должно быть.

— Десять тысяч — тоже очень даже неплохо, — сказала Эльзе, от удовольствия она разрумянилась. — Ну и на что мне использовать мои десять тысяч? Что, если поехать отдохнуть в Швейцарию, в хорошую гостиницу…

— Эльзе, давай поедем в Сен-Морис? — Соня захлопала в ладоши, глаза ее заблестели, крупное тело раскачивалось на худощавых, элегантных ногах. — Я была там с папой и мамой — когда ж это было? Бог знает сколько лет назад, мне пятнадцать лет было. Какая там красота!

— Na[5], а как насчет кофе, у нас ведь день рождения? — напомнила миссис Готлоб.

Соня принесла из кухни кофейник, и они расселись вокруг стола.

— Значит, у всех у нас счастливый день, — сказал мистер Лумбик. — Во-первых, мы имеем сегодня чей-то день рождения. — И он бросил томный взгляд через стол, отчего Соня законфузилась и опустила глаза в чашку, а миссис Готлоб толканула его и сказала:

— Не бросайте глазки, Лумбик.

Он тут же закрыл глаза, принял позу пай-мальчика, так что Соня и Эльзе прыснули, точно школьницы.

— Я всегда имею успех у дам, — заметил он. — Итак, во-первых, мы имеем день рождения. Во-вторых, Эльзе имеет компенсацию и едет кататься на лыжах в Сен-Морис.

---

[5] Примечания: 5
Ну (*нем.*).

— Да! — вскричала Эльзе. — И за свои десять тысяч переломаю себе ноги — живем всего раз, эге-гей!

— И Карла Лумбика сделали британским гражданином четвертого класса.

— А значит, — сказала миссис Готлоб — рот ее был набит яблочным пирогом, — теперь вы — один из нас.

— Точно так и она заявила, когда я получила гражданство, — моя миссис Дейвис, — сказала Эльзе. — «Теперь, Эльзе, вы — одна из нас». — «Да, миссис Дейвис, — говорю, — я — одна из вас». — И она презрительно фыркнула. — Да я бы скорее вырвала себе руки-ноги — «одна из нас»! Она откроет рот, и сразу ясно, какая у нее семья.

Сама Эльзе была из очень почтенной семьи и никогда не забывала, что ей положено по праву. Ее отец, Эмиль Леви, преподавал в старших классах, был видным гражданином Швайнфурта, к тому же, пока нацисты не пришли к власти, таким патриотом Германии, каких мало, — в гостиной у Леви всегда висел портрет кайзера в окружении семьи.

Соня сказала:

— Здесь, в Англии, евреи совсем некультурные, мы, в Германии, были другие.

— Некультурные! — выпалила Эльзе. — Сказать при ней «Бетховен», так она подумает, что это ругательство.

— Знаете анекдот про то, как Мойше Ротблатт из Пинска пошел на «Тристана и Изольду»? — спросил мистер Лумбик.

— Никаких ваших анекдотов, Лумбик, — сказала миссис Готлоб. — Вы в хорошем обществе.

— В самом наилучшем, — подтвердил мистер Лумбик. — Если бы мне сказали двадцать лет назад: Карл Лумбик, через двадцать лет ты будешь пить кофе с тремя прекрасными дамами в роскошной квартире с центральным отоплением и лифтом…

— Всем нам, слава Богу, сейчас лучше, чем двадцать лет назад, это так, — сказала Эльзе.

— Если б только он подождал, — сказала Соня. — Он никогда не верил, что станет лучше. Я говорила ему: «Отто, сейчас темно, но солнце выйдет», а он мне: «Нет, все кончено». Понимаете, он не хотел больше жить.

— Было много дней, когда мне тоже не хотелось жить, — сказала Эльзе. — После того как я сидела в комнатке позади магазина, по десять часов шила на миссис Дейвис, так что у меня глаза вылезали, потом шла домой в меблированную

комнату, где постель была не застелена, а я не имела шиллинга на газ, чтобы разогреть банку консервов, я говорила себе: «Эльзе, что ты здесь делаешь? Отец, мать, сестры — никого нет на свете, почему ты еще здесь, положи этому конец».

— Кто не имел таких дней? — сказал мистер Лумбик. — Ну а потом идешь себе в кафе, играешь себе партию в шахматы, тебе рассказывают новый анекдот — и жизнь опять хороша. — Он улыбнулся, и в глубине его рта так весело, так лихо блеснул золотой зуб, что у Сони ёкнуло сердце, и она подумала: какой же он славный.

А тут и Вернер явился.

— Как мило, — сказал он. — Кофейничаете? По какому случаю?

— По какому случаю кофейничаете? — возмегодовала миссис Готлоб. — По случаю дня рождения.

— Вот те на! — Вернер прикрыл рукой рот и, округлив глаза, виновато посмотрел на мать.

— Он забыл мамин день рождения! — возопила миссис Готлоб.

— Я думал, дни рождения не помнят мужья. — Мистер Лумбик попытался обратить все в шутку.

— Ну что я могу сказать? — адресовался Вернер к матери.

— Ничего, ничего, какие пустяки. — Соня поспешила прервать сына.

— И вовсе не пустяки. Совсем не пустяки. — Он взял материнские руки в свои и ласково, но не без снисходительности поцеловал мать в щеку.

Одного с ней роста, он был хорош собой — густые темные волосы, элегантная повадка.

— Никаких поцелуев! — возопила миссис Готлоб. — Ты поганец, тебя надо отшлепать.

— Если бы Вернер поцеловал меня хоть раз, я бы тоже простила ему все-все, — сказала Эльзе.

Вернер наклонился, поцеловал ее в щеку, сказал:

— Как поживаете, Tante[6] Эльзе?

Она — в упоении — закрыла глаза:

— Соня, ну за что тебе такой сын?

Соня оглядывала гостей с горделивой улыбкой.

— А теперь сядь-ка рядом со старухой Готлоб, — сказала миссис Готлоб, похлопав по соседнему стулу, — и расскажи ей все про своих подружек.

— О какой из них вам рассказать? — Вернер подтянул брюки с безупречной складкой, закинул ногу на ногу, продемонстрировав элегантные носки. — О блондинке, о брюнетке или о моей

---

[6] Примечания: 6
Тетушка (*нем.*)

фаворитке — рыжей?

— А у моих подружек волосы одного цвета, — сказал мистер Лумбик, — седые.

Однако с приходом Вернера никто не обращал на него внимания.

Миссис Готлоб погрозила Вернеру пальцем.

— Передо мной можешь не поднимать нос. Для меня ты все тот же малыш Вернер Вольф, который бегал к Tante Готлоб на кухню и просил Tante Готлоб испечь вкусную ватрушку! Вот так-то, а теперь ты делаешь вид, что обо всем забыл! — И она ущипнула его за щеку, да так, что он поморщился.

— Нет-нет, можно ли такое забыть! — сказала Соня. И хотя ей хотелось бы забыть годы, проведенные в доме миссис Готлоб, — комнату, служившую им и спальней, и гостиной, где Отто дрожал от холода у газовой горелки под звуки склок других беженцев, перебранивавшихся из-за того, чья очередь принимать ванну, — в голосе ее звучала искренняя благодарность.

— Вернер! Ты даже не представляешь, куда мы поедем! В Сен-Морис! — сказала Эльзе.

— В Сен-Морис? — Вернер поднял бровь, улыбнулся — само обаяние. — Но Mutti же была там, давным-давно с мамой и папой…

— Он смеется надо мной! — запричитала Соня и вытянула руку вперед, словно защищаясь от нападок.

Вернер схватил ее руку, поцеловал и продолжал:

— Когда же это было — в год после поездки в Карлсруэ или в год после Бад-Эмса, ей тогда еще сшили дивное платье из белых кружев с цветком на талии, и она играла на пианино при лунном свете?

— Смейся, смейся, — сказала Соня. — Но какое же славное было время. Мамино здоровье нуждалось…

— Как же, как же, — вставил Вернер с издевательской серьезностью.

— Ш-ш! Подумать только, Эльзе, два раза в год мы ездили отдыхать, раз — летом, раз — зимой, и всегда в какое-нибудь живописное место, жили в большой гостинице…

— С красными бархатными коврами, зимним садом и чаем в пять часов à l'anglaise[7], — сказал Вернер.

— Да будет тебе! — И Соня, совсем по-девчоночьи — весело, с вызовом, тряхнула головой. —

---

[7] Примечания: 7
На английский манер (*фр.*).

Смейся, смейся, вот только, если б мы в тот год не поехали в Мариенбад, где бы ты был? — И, сразив этим аргументом сына, победно оглядела всех.

Вернер всплеснул руками, лукаво покачал головой.

— И кого же прелестная Соня Ротштейн встретила, отдыхая с папой и мамой в Мариенбаде, кого эта благовоспитанная, благонамеренная барышня встретила в Мариенбаде?

— Вернер, ты сегодня просто несносный. — Соня сияла — так была счастлива.

— Да-да, они всегда, — сказала миссис Готлоб, — смеются над родителями. — Она снова потянулась ущипнуть Вернера за щеку, но он успел увернуться.

— Вот что странно, — сказал мистер Лумбик: он не поспевал за ходом беседы. — Я жил во многих гостиницах, но нигде не видел красного бархатного ковра.

— Рассказывай дальше, Вернер! — попросила Эльзе. — Я хочу знать историю их романа от начала до конца. — Ее пухлые щеки разгорелись — она обожала романы, и даже теперь, старой девой под пятьдесят, жила надеждой и ожиданием.

— Эльзе, ну зачем ты его подзадориваешь? — одернула ее Соня.

— Нет, пусть мне расскажут, что надо знать барышне, когда она едет отдохнуть в Мариенбад. Что, если нам поехать не в Сен-Морис, а в Мариенбад, а, Соня? Кто знает, что там приключится — с тобой при твоей красоте, и со мной при моих десяти тысячах? Нельзя пропускать такой шанс! — Она пихнула Соню локтем в бок и сморщила круглое, как яблоко, личико в гримасу, изображающую блаженство.

— Так я вам скажу и еще что-то странное, — сказал мистер Лумбик. — Вы не поверите, но я никогда не ездил отдыхать.

На этот раз ему удалось привлечь к себе внимание.

— Никогда не ездили отдыхать! — вскричали хором Соня и Эльзе, а миссис Готлоб сказала:

— Это что, очередная ваша шуточка, Лумбик?

— Нет, это так. В Вене, ну зачем мне было ездить на отдых? Моя жизнь и так была отдых.

— Да-да, мы знаем, что это был за отдых, — сказала миссис Готлоб.

— Я имел моих друзей, мои шахматы, моих подружек, кафе, оперу — ну и зачем я буду ездить на отдых?

— Это глупо, — сказала Эльзе. — Летом все хотят уехать на отдых. Каждый год, когда школы

закрывались, отец увозил нас, всех шестерых, в горы, и мы останавливались в Pension[8]. Он назывался Pension Катц, я хорошо его помню.

— Ну а потом… — Лумбик развел руками, понурился. — Бедный беженец старается зарабатывать на жизнь, отдых не для него. Но я все равно много путешествовал: Будапешт, Прага, Шанхай, Бомбей, Лондон — чем плохо столько городов за одну жизнь?

— Да разве это путешествия? — сказала миссис Готлоб. — Бродяжество — вот что это такое.

— Вы правы, — согласился мистер Лумбик, — одни путешествуют для удовольствия, другие для того, чтобы, как это сказать?

— Чтобы рассеяться, — сказал Вернер.

— Да-да, рассеяться, спасибо, а другие путешествуют, чтобы их не рассеяли, как прах. Неудачный каламбур, а, мистер Вернер? Я теперь совсем англичанин и сочиняю каламбуры, чтобы потом извиняться за них.

— Будет вам хвастаться, Лумбик, — сказала Эльзе. — Мы уже слышали: вы теперь — британский гражданин.

— Да, я теперь британский гражданин, и мне

---

[8] Примечания: 8
Пансионе (*нем.*).

больше не могут сказать: «Пакуй чемоданы, Лумбик! Уезжай!» И так мне стало спокойно, что это даже плохо для моих нервов.

— Что ж, — сказал Вернер, лениво вытягивая ноги, — а вот мне пора паковать чемоданы.

Соня посмотрела на него с тревогой, глаза ее расширились.

— Вернер, зачем?

— Я скоро уезжаю в Рим, — и, видя, как изменилось материнское лицо, сказал — Ну что ты, родная, я же говорил тебе, что, по всей вероятности, уеду.

Соня опустила глаза в чашку, сжала в кулак крупную белую руку с бриллиантовым кольцом. Мистер Лумбик устремил на нее сострадательный, умильный взгляд. Взгляды остальных были направлены на Вернера.

— Вернер, как интересно! — сказала Эльзе. — И зачем ты туда едешь?

— В Риме жизнь бьет ключом, а Лондон мне наскучил. Так что, Вернер, пакуй чемоданы! Уезжай! — Он одарил мистера Лумбика чарующей улыбкой, но тот не улыбнулся в ответ.

— Значит, жить с мамой для тебя не хорошо, — попеняла ему миссис Готлоб. — У вас чудесная квартира, она для тебя готовит красивые обеды,

а ты все бросаешь и — до свидания!

— Что ты там будешь делать, Вернер? — спросила Соня убитым голосом.

— Я же тебе говорил: там жизнь бьет ключом, снимают кино, столько всяких возможностей. Не беспокойся, родная. — Он старался говорить беззаботно и весело, но в его голосе сквозило раздражение.

— Да вовсе я не беспокоюсь, — поспешила заверить его Соня.

Никаких причин беспокоиться не было. Денег теперь хватало, и в Риме он мог заниматься тем же, что и в Лондоне: немножко баловаться кино, немножко художественной фотографией, а в остальное время бегать с вечеринки на вечеринку и крутить романы.

Вернер посмотрел на часы.

— Бог ты мой! У меня же в семь свидание!

И он скрылся в своей комнате — она прилегала к материнской. Как только дверь за ним закрылась, Соня заплакала.

— Соня, Liebchen![9] — вскрикнула Эльзе.

Миссис Готлоб поцокала языком и грубовато — такая уж у нее была манера — сказала:

---

[9] Примечания: 9
Милая (*нем.*).

— Na, и что это такое?

— Какая я глупая, — рыдала Соня.

Мистер Лумбик — воплощенный такт — рассматривал фотографию Сониных родителей, запечатленных во время медового месяца в Биаррице.

— Понимаете, я вот что думаю: ведь все могло быть иначе, — сказала Соня, утирая слезы крохотным носовым платком. — Отто уже не управлял бы фабрикой, передал дела Вернеру. И он был бы Вернер Вольф, директор SIGBO, известный, уважаемый человек…

— Ну а кто уважает здесь меня? — возопила Эльзе. — Кто я для миссис Дейвис, всего-навсего штопальщица, но я-то знаю, что я все та же Эльзе Леви, дочь Oberlehrer[10] Леви из Швайнфурта, и миссис Дейвис может думать себе, что хочет, что мне до нее?

— А дети, — сказала Соня, — мы-то знаем, кто мы такие, но что может знать мой Вернер и моя Лило? — При мысли о Лило у нее снова полились слезы, и она прижала к глазам платок. — Бедненькая моя Лило, разве так я жила в девушках — дивные наряды, что ни день балы, танцклассы,

---

[10] Примечания: 10
Старшего преподавателя (*нем.*).

уроки игры на фортепиано в Берлинской консерватории. А что имеет она — тяжелую работу в кибуце, работу руками, и эти кошмарные белые рубашки и шорты. — Голос ее пресекся, она сказала: — Мой платок совсем мокрый.

— У меня же есть подарок ко дню рождения! — Эльзе схватила свою объемистую сумку. Порылась в ней и на этот раз извлекла три отороченных кружевцем носовых платка. — С днем рождения, Соня, это очень хорошее кружево.

— О, Эльзе, какие красивые. — Соня поблагодарила ее и тут же вытерла глаза одним из платков.

— Видишь, какой полезный подарок, — сказала Эльзе. — Но чтобы в будущем ты вытирала ими только нос, не слезы, поняла? — наказала она.

— И я хотела бы знать, какую причину плакать вы имеете? — спросила миссис Готлоб. — Вы живы, вы здоровы, дети живы и здоровы, а только это и важно.

— Знаете, я иногда задаю себе вопрос, — сказал мистер Лумбик. — Лумбик, какие у тебя достижения в жизни? И даю себе ответ: я выжил, я еще жив, а раз так, моя жизнь удачная.

— Хоть один раз, а этот Лумбик сказал что-то разумное! — заметила миссис Готлоб. — Побла-

годарите Господа, миссис Вольф, за то, что вы еще на этом свете, а ваши Вернер и Лило пусть позаботятся о себе сами.

— А я все задаю себе один вопрос, — сказал мистер Лумбик. — И для меня очень серьезный: предложат мне еще Apfelstrudel или нет?

— А вы, Лумбик, только и думаете, как бы живот забить, — сказала миссис Готлоб. — Na, еще одна чашечка кофе нам тоже будет на пользу.

— Мы начинаем праздновать день рождения сначала! — вскричала Эльзе. — Я так люблю дни рождения, а сегодня у нас их целых два!

— Для такой новорожденной, — сказал мистер Лумбик, подпустив в голос нежности, — и два дня рождения мало.

— Ach, мистер Лумбик, — укорила его Соня и залилась краской.

Мистер Лумбик умоляюще воздел мизинец:

— Вспомните, какое обещание в честь дня рождения я от вас имел!

— Карл. — Наливая кофе, она отвернула от него расплывшееся в улыбке лицо.

— Это что-то новенькое, — сказала миссис Готлоб, а Эльзе ущипнула мистера Лумбика за руку и сказала:

— Вы достаточно долго стреляли глазками

Соню, теперь моя очередь — я тоже прелестная барышня!

— Вы все прелестные барышни, — сказал мистер Лумбик, и этот комплимент так насмешил миссис Готлоб, что она налилась кровью и поперхнулась.

Когда Вернер, переодевшись, вышел из своей комнаты, они уже разгулялись вовсю.

— Что ж, я пошел, — сказал он, но никто его не услышал.

Мистер Лумбик рассказывал о своих перипетиях в Шанхае.

— Пока, — кинул им Вернер.

Но только Соня перевела на него глаза.

— Уходишь, Вернер? — рассеянно сказала она, наливая очередную чашку кофе мистеру Лумбику.

Их увлеченность друг другом, их веселье и позабавили, и порадовали Вернера.

Брайан Гланвилл

Возмутительно
Пер. Л. Беспалова

Харрис повязывал галстук — затянул узел заученно, резко, уверенно, — так, точно опускал забрало шлема. Кошмарный, кричащий, желто-зелено-фиолетовый галстук никак не сочетался с элегантной, снежно-белой рубашкой и дорогим, прекрасного покроя костюмом в еле заметную полоску. Поправляя галстук, он почувствовал, как его привычно обдала теплая волна. Он свой. Свой в мире соломенных канотье, голосов с тем самым, правильным выговором, хоровых спевок, одетых с головы до ног в белое игроков в крикет на зеленых полях. А без этого вот узла на галстуке образ, того и гляди, распадется на глазах, рассыплется на множество мелких, глубоко-глубоко запрятанных деталей: бородатые деды в капелюшах, каникулы в кошерных гостиницах, надтреснутый голос, выпевающий слова бар мицвы, непобедимая детская боязнь травли.

— Харрис? Ты и правда еврей? Ты что, не знаешь — еврей ты или нет? А если ты еврей, с какой стати ты ходишь в часовню?

— Ты ведь сменил фамилию? У евреев таких фамилий не бывает.

— Сегодня свинина. Харрис, я съем твою, идет? Евреям свинину есть не положено.

— А ты не знал? Он — еврей, кто ж еще: у него и волосы такие, и кожа такая, как у еврея. Верно я говорю, Харрис?

Тринадцать лет. Воскресное утро в дортуаре, он не спит, думает: Господи, не допусти, чтобы они накинулись на меня, не допусти, чтобы они начали надо мной измываться, сделай так, чтобы прежде зазвонил звонок…

— Харрис, это к тебе отец приезжал? У него еврейский нос, а у тебя нет, почему? Не иначе как тебе нос укоротили.

Задвинуть все-все в темный угол сознания, схоронить под изо всех сил поддерживаемыми дружбами, постом школьного старосты, победами команды твоего колледжа, одержанными на грязных полях, гонками плоскодонок на задах кембриджских колледжей, встречами старых выпускников в погожий денек.

— Ба, смотри-ка — Харрис! Сколько лет, сколько зим. Чем занимаешься? Процветаешь, как я вижу.

Он взял две щетки в серебряной оправе, тща-

тельно пригладил волосы. Из зеркала в раме позолоченной бронзы — кроме зеркала ему мало чем удалось скрасить сурово-функциональную обстановку квартиры с гостиничным обслуживанием — на него глянуло широкое, смуглое, с квадратным подбородком лицо. Нос прямой, короткий, темным глазам не мешало бы быть и побольше, на свежевыбритых щеках просвечивала неодолимая щетина.

Лязгнула крышка почтового ящика: принесли почту, он вышел в коридор и обнаружил — только этого не хватало — в ящике письмо от отца: манчестерский штемпель, округлый корявый почерк. Харрис вскрыл конверт, вздохнул, осторожно опустил огрузшее тело на незастеленную постель.

«Напоминаю: буду в Лондоне послезавтра, мы с тобой обедаем в „Леви“».

Начисто забыл. Харрис скомкал письмо, уронил его на пол. Никчемные обеды с их неизменной рутиной. Жуткий ресторан — сплошной шик-блеск, шум-гам, отец — кичливый коротышка, манчестерский шут, тонкий нос загибается книзу крючком.

— Извини за вопрос. Так ты уже начнешь зарабатывать на жизнь?

— Бога ради, папа, нельзя же вечно талдычить одно и то же. Всем барристерам поначалу приходится туго.

Обиделся.

— Чем тебе плох Манчестер. У меня налаженное дело — ждет тебя.

С его же стороны — все вместе: страх, любовь, презрение, а когда они показываются на людях, непреходящий конфуз.

Мало этого, так еще и «ягуар» в неисправности, подумал он, значит, в контору придется ехать на автобусе.

— Экая досада, — сказал он вслух с выговором воспитанника престижной школы. Как бы там ни было, а в его контору, пропади она пропадом, я не пойду — и точка.

В котелке, помахивая зонтиком, подвешенным на изгиб локтя, неотличимый в толпе, он пересек Кингс-Бенч-Уок. На приветствия других котелков отвечал с обычной приветливостью, тяжелое лицо расплывалось в ответной улыбке.

— Харрис, ты не помнишь, Пим с нами в Тринити[11] не учился?

— Помню. Он жил со мной в одном подъезде,

---

[11] Примечания: 11

Тринити — Тринити-колледж (основан в 1554 г.), колледж Оксфордского университета.

гребец.

— Похоже, сегодня он защищает наших противников.

— Точно он, он самый. Бракоразводное дело.

— Доброе утро, Сондерс, — сказал он, входя в контору.

— Доброе утро, сэр, — ответил клерк.

Коллинз — у них был один кабинет на двоих — уже сидел за столом.

— Неподобающее облачение, видит Бог. — Кратко, на нарочито старомодный манер приветствовал его Коллинз.

— Да я всего на минуту. Нужно заскочить к портному… ну а днем… днем другие дела. — Слова сопроводил заговорщицкой улыбкой. Жуир. Светские визиты. Летом — обеды под открытым небом в дорогих ресторанах. Загородные, ночные клубы. Гонки со скоростью сто тридцать километров в час по Грейт-Вест-роуд.

— Хлыщ, вот ты кто, — сказал Коллинз, и Харрис застенчиво улыбнулся — ну прямо как собака, когда ей чешут брюхо.

Коллинз сказал:

— Я тут познакомился с одним человечком из юридической фирмы «Коэн и Монтегю».

Пухлые руки Харриса — он вскрывал письмо

— замерли, застыли. Он остолбенел, окаменел — изваяние Будды, да и только. Замолчи. Больше ничего не говори. Замолчи.

— Тебе что-нибудь о них известно?

— Нет, — сказал он.

Вот оно, вот — сейчас засадит нож под ребра.

— Похоже, очередная компашка еврейских ловчил.

Вот оно! Но он уже оторвался — парил в другом измерении, там евреев нет, там он недосягаем.

— Похоже на то.

Обедать он пошел в «Оксфордский и Кембриджский клуб», под разговор о бегах выпил в баре четыре порции виски с компанией молодых барристеров и биржевых маклеров. За обедом разговор продолжился, он заказал бутылку кларета.

В половине четвертого он быстро, насколько позволяла грузность, шел по Сент-Джеймс-стрит; беззаботный, предвкушал приятный день, предстоящее свидание, и даже небольшая очередь на автобус не раздражала, и мысли об отце не тревожили. Над его головой все еще висел меч, но висел высоко, прочно укрепленный снисходительным и падким на подкуп палачом.

А вот и автобус, внизу все места были заняты, и

он тяжело вскарабкался наверх — тут свободным осталось лишь одно место на переднем сиденье. У окна расположилась пожилая, коротко стриженная толстуха с багровым лицом, он неохотно опустился рядом с ней, в нос ему ударил удушливый запах немытого тела, и он поморщился.

— Вам что, одного места мало? — окрысилась она. — За мой билет такие же деньги плочены, как за ваш.

Харрис, не обращая на нее внимания, презрительно смотрел прямо перед собой.

— Вы что, оглохли? Вы меня только что в окно не вытолкнули.

В ответ на это Харрис, величаво повернув к ней голову в котелке, отрезал:

— Вы занимаете ничуть не меньше места, чем я.

Тетка, заерзав в бессильной ярости на сиденье, что-то пробурчала себе под нос.

Харрис, не веря своим ушам, посмотрел на нее. Слабость — откуда ни возьмись подкралась слабость — обволакивала, сковывала.

— Что? Что вы сказали? — с расстановкой, приглушив голос, сказал он.

— Что слышал! — ответствовала тетка, на этот раз она повернула голову и уставилась на него

— ее темные бешеные глаза горели ненавистью. — Чтоб им, евреям этим. Житья от них нет.

Его все сильнее сковывала слабость. Кошмар, страшный кошмар, но это же ни с чем не сообразно: такого просто быть не может. Ему представились лица пассажиров вокруг — вежливые, выжидающие.

— Вы ошибаетесь! — сказал он пискливым от возмущения голосом. — Вы с ума сошли!

— Еврей! — сказала она. — Что я, еврея, что ли, не признаю.

— Это вы обо мне? — ошеломленный, он не находил слов.

Воспоминания будоражили, подвергали все сомнению: восемь лет он был неуязвим — и вдруг эти годы поставлены под вопрос, осквернены. Он встал, споткнулся о зонтик и побежал по проходу, визгливо, жалостно причитая:

— Я не намерен терпеть оскорбления. — И посреди Парк-Лейн соскочил с автобуса, всего в нескольких метрах от него со скрежетом затормозил спортивный автомобиль, водитель, высунувшись из окна, покрыл его, но он, не обращая внимания на водителя и не видя ничего вокруг, мчался к спасительному тротуару. — Ненормальная! — твердил он. — Ясное дело

— ненормальная, иначе и быть не может!

Выжил
Пер. Л. Беспалова

— Билл! Марион! — Миссис Левинсон потрясала тонким, испещренным каракулями листком. — Письмо, авиапочтой, от Маркуса! Он едет в Англию, на следующей неделе будет у нас! Правда, здорово? Он приедет в Лондон! — возбужденно, совсем по-девчоночьи смеялась она.

— Замечательно! — подобострастно поддакнул ее белобрысый розовощекий недомерок-муж.

— Марион! — обратилась миссис Левинсон к дочери. — Правда, хорошо?

— Да-да. — В голосе Марион не слышалось энтузиазма. Она так и не подняла глаз от тарелки.

Миссис Левинсон пронзила ее грозным взглядом — это был взгляд старшины, заподозрившего подспудное неповиновение, впрочем, радость несла ее, как волна.

— Мы не видели его почти два года, — сказала она. — Хотя нет, полтора, он тогда приплыл из Хайфы. Но он уже закончил обучение, теперь он наводчик, — и, проверяя себя, поднесла письмо к глазам. — Вот именно — наводчик, служит на

израильском флоте. Билл, это же прекрасно, что у Израиля есть свой флот с кораблями, с наводчиками — все честь по чести.

— Просто великолепно, — сказал Билл голосом слишком хорошо модулированным, слишком чеканным, чтобы быть натуральным, жена же его от волнения перестала следить за собой, и голос ее утратил благоприобретенный лоск. — Лучшей жизни для парня и быть не может.

— Помните, в каком виде он к нам пришел? — вопрошала миссис Левинсон. Сцепив пальцы, она устремила взгляд в пространство — ни дать ни взять Орлеанская дева, разве что видение ей явилось вполне мирского свойства. Дочь мрачно сунула ложку в овсянку: все это она уже слышала, и не раз. — Он был ну прямо как животное, — предалась воспоминаниям миссис Левинсон. — Я не могу его описать — нет слов. Объявился у нас на пороге в кошмарном пальто чуть не до пят — он в нем буквально утопал, — коротких брюках и заношенном рваном свитере. Я первым делом отвела его наверх, дала ему старую рубашку и брюки Билла. А как он ел, вы помните, как он ел? Прямо… прямо как животное. Лез пальцами в жаркое: видно было, не в силах ждать. А все потому, что в лагерях еда доставалась лишь тем,

кто сильнее, кто хватал еду первым… — При этих словах она непроизвольно скрючила пальцы. — Так что, Марион, никогда не забывай, как тебе повезло: у тебя всегда было все — вдоволь еды, уютный дом, ты ни в чем не знала недостатка.

— Нет, мам, — сказала Марион.

— Что значит «Нет, мам»?

— Это значит: «Да, мама».

— Надо думать. Боже упаси, чтобы с тобой случилось такое.

— Или с кем-нибудь из нас, — сказал мистер Левинсон.

Марион промолчала. Она вспоминала, как Маркус впервые появился в их доме — крупный, кряжистый, синий свитер только что не лопался на его сильном торсе; квадратное с широкими скулами и маленькими глазками лицо скорее славянской лепки казалось каким-то голым; на губах его часто играла улыбка, но отнюдь не благожелательная. Если считать, что он улыбается какой-то шутке, то, по-видимому, шутке, понятной ему одному.

— У Марион сегодня больше нет занятий, — сказала мать. — Очень кстати. Так что, идите-ка в кино. Деньги я дам.

И они — куда денешься — пошли в кино.

Маркус напугал Марион, она постоянно была настороже, отчего чувствовала себя виноватой перед ним и казнилась. На его долю выпали такие страшные испытания, твердила она себе, но слова оставались словами: его прошлое она воспринимала умозрительно, сам же Маркус, коренастый, с топорным лицом, со спотыкающимся, корявым английским, был на редкость отталкивающим и до ужаса реальным.

После кино они пошли в Лайонс-Корнер-хаус — выпить чаю, и она, делая над собой усилие, робко расспрашивала Маркуса о том, что ему пришлось перенести: так, казалось ей, она искупает свою вину перед ним. Его уклончивые ответы говорили о мире без правил — ей было не понять его.

— И вот мы в грузовике и видим, там парень из охраны. Ну, мы сказали американцу, а парень сказал: «Нет, я не охранник, я — беженец», но наш парень хватал его, кидал на дорогу, и американцы его уводили.

— И его… его расстреляли?

Маркус — вот оно страшное восточноевропейское покорство — только плечами пожал:

— Других, кто нам попадал, мы убили сами.

— А твои родители… они живы?

— Их, как меня, увозили из Польши на поездах.

Больше я их не видал.

Констатировал факт — и все тут, слез не пролил, и это ужаснуло ее больше, чем сам факт.

— Ну что? — спросила миссис Левинсон, когда они пришли домой. — Хорошо провели время, хороший фильм, о чем говорили?

— Поговорили немного о войне, — сказал Маркус, миссис Левинсон скосила глаза на дочь, но материнская озабоченность тут же сменилась более подобающим — скорбным и серьезным — выражением.

— Бедный мальчик, — прошептала она, — бедный, бедный мальчик, — и отправилась подыскивать для него мужнины брюки.

Она взяла Маркуса под свое крылышко.

— Он мне как сын, — оповещала она друзей, — только, Боже упаси, чтобы моему сыну — будь у меня сын — пришлось пережить такое. И это такая благодарная душа, что я порой думаю: ну за что нам дано так много, а ему так мало?

Всю свою устрашающую энергию она направила на устройство будущего, не говоря уж о настоящем, Маркуса. Каждую неделю — ни одну не пропуская — она отправляла продуктовую посылку в деревню, где располагался лагерь, куда определили Маркуса. А меж тем изыскивала

способы обучить его какому-то ремеслу и в конце концов нашла еврейскую сельскохозяйственную школу, по окончании которой учеников отправляли в палестинские кибуцы. Школу Маркус закончил, но в кибуц не поехал, а пошел на флот: его одолевала мечта, неожиданная для человека, впервые увидевшего море лишь подростком.

В промежутки между приездами Марион жалела Маркуса и даже испытывала к нему симпатию, однако стоило ему появиться — и добрых чувств как не бывало. Ну скажите, можно ли жалеть Маркуса, когда он, и это ясно как день, сам себя не жалеет: примитивный, самоуверенный, мордастый, на губах вечная улыбка, скорее издевательская, чем ироническая.

— Этот мальчик меня любит, — твердила мать и, похоже, не обманывалась: при виде миссис Левинсон губы Маркуса растягивала уже не издевательская, а глуповатая улыбка, он ходил за ней хвостом, льнул к ней, как верный пес, в ожидании если не косточки, так ласки.

Приехал он два дня спустя, часам к двенадцати. Марион увидела его в окно, он шел враскачку между рядами солидных, благополучных, новых домов из ярко-красного, еще не успевшего выцвести кирпича, но о его появлении никого не

оповестила.

— Маркус! — Мать вышла на порог встретить его. — Нет, вы только посмотрите, как ему идет форма! Марион, спускайся, Маркус приехал!

Пока Марион спускалась, Маркус, задрав голову, провожал ее глазами, и на его круглом, как луна, лице сначала промелькнуло изумление, потом чувство совсем иного рода. Хотя он тут же разулыбался, Марион ощутила, что смутное ощущение опасности, исходившее от него, кристаллизовалось.

— Нет, ты только посмотри, до чего ж он хорош в форме! — восторгалась миссис Левинсон.

Это было и так, и не так. От ног до воротника Маркус был матрос как матрос — коренастый, широкоплечий, а вот лицо над воротником — ухмыляющееся, сухопутное, европейское лицо — было явно не отсюда.

— Ну, как ты находишь Марион? — вопрошала миссис Левинсон. — Выросла, не узнать?

— Да, она уже не девочка. — Маркус улыбался, его глазенки обшаривали ее с ног до головы. — Стала совсем взрослая.

— Вот видишь! — сказала миссис Левинсон, так, словно это и требовалось доказать. — А ведь она еще учится в школе!

— Ни за что бы не поверил! — сказал Маркус, его английский со времени последнего визита заметно улучшился.

Марион почувствовала, что краснеет, и рассердилась на себя.

— Пока идут занятия, мне полагается ходить в форме. — Она резко закрыла тему.

— Взрослая и красивая… — повторил Маркус.

— Ей семнадцать, — сказала миссис Левинсон. — На следующий год, даст Бог, пойдет в университет.

— Счастливица, что и говорить, — сказал Маркус.

Кофе пили в гостиной, сплошь в атласной парче, заставленной торшерами и коктейль-барами на хлипких ножках, — арене бесчисленных карточных баталий.

— Ну, рассказывай, рассказывай, — наседала миссис Левинсон. — Как ты и что, как тебе живется в Израиле, нравится ли флотская жизнь?

— Очень нравится, — сказал Маркус. Он сидел, расставив ноги, на краешке дивана, брюки на его мощных ляжках только что не лопались, в пальцах зажата сигарета. Миссис Левинсон метнулась молнией — поставить пепельницу на столик перед ним.

— И где ваш корабль стал на якорь?

— Я же писал — в Плимуте. Когда мы сошли с корабля в Гамбурге, нам кричали из толпы: «Жиды пархатые». Ну, мы с ними и схватились.

— И как — поколотили их? — прервала его миссис Левинсон: ей не терпелось узнать, чем все кончилось.

— Да, — сказал Маркус и раздавил сигарету в пепельнице, — поколотили.

— Почему бы вам не пройтись перед обедом? — сказала миссис Левинсон.

— Что ты, мама, — сказала Марион. — Мне же надо заниматься.

— Тебе не помешает пройтись, — прошипела миссис Левинсон и впилась пальцами в руку Марион. — Он что, часто приезжает? — Затем, повысив голос, умильно: — Поведи его в парк. Дотуда минут пять, не больше.

Не слушая никаких возражений, миссис Левинсон выпроводила их, и они отправились в парк; Марион с унылой миной плелась нога за ногу. Рослая, белокожая брюнетка с зелено-карими глазами, она, если б не несколько рвущийся вперед нос, была бы красотка хоть куда.

— Почему ты не хотела пойти со мной? — спросил Маркус.

— Дело не в тебе, — сказала Марион, не глядя на него. — Просто мне надо заниматься.

— А ты не только в школе, ты и дома занимаешься?

— Да, — сказала она: ее раздражала как его тупость, так и догадливость. — В последнем классе приходится много заниматься.

Маркус ничего на это не ответил, и дальше они шли молча. Разговор с ним у нее не клеился и при более благоприятных обстоятельствах, теперь поддерживать разговор стало еще труднее: Маркус и пугал ее, и приводил в замешательство.

— Ты изменилась, — наконец прервал он молчание. — И не скажешь, что школьница. Совсем взрослая стала, а какая красотка.

— Спасибо, — сказала она, но благодарности не испытала. Вообще-то такой комплимент ее обрадовал бы, но в его похвале крылось что-то пакостное.

— А с парнями ты встречаешься?

— Хожу иногда на вечеринки.

Это была далеко не вся правда: она постоянно ходила на вечеринки и то и дело схватывалась, и не на шутку, с матерью — та требовала, чтобы она ходила на вечеринки не так часто и возвращалась не так поздно.

— Хотелось бы мне пойти куда-нибудь с такой красоткой, как ты, — сказал Маркус. — Почему бы нам не сходить сегодня потанцевать? — и подхватил ее под руку.

— Я не могу! — От испуга голос у нее сорвался на крик, она стряхнула его руку. — Никак не могу: я уже договорилась встретиться с… с подругой.

— Ну и ладно, — неожиданно он повысил голос, заговорил спокойно, властно, — что ты так разволновалась? Нет, так нет.

Они уже шли по парку мимо платанов, чьи опавшие листья гонял ветер, мимо круглящихся зеленых взгорков, мимо оленей, пасущихся за загородкой посреди парка. Всякий раз, когда Маркус приближался к ней, Марион отстранялась, в результате они продвигались по диагонали, точь-в-точь как два слона, преследующие друг друга на зеленом шахматном поле.

За обедом — в честь приезда Маркуса на обед подали рубленую печенку и вареную курицу — миссис Левинсон снова приступила к Маркусу с расспросами. Он отвечал почтительно, но кратко: человек дела словами не разбрасывается. Раз он прижался к Марион коленом, и она поспешно отдернула ногу.

— Послушайте, — с девической игривостью

предложила миссис Левинсон, когда с обедом было покончено, — почему бы нам не сходить в кино?

Маркус с ходу согласился, Марион понимала, что спорить бесполезно. От Голдерс-Грин они поехали на метро — машину взял мистер Левинсон, — в вагоне смуглые, добродушные еврейские лица оборачивались на них и при виде формы Маркуса с гордостью перешептывались.

Маркус, похоже, ничего не замечал, немногословно, но вежливо отвечал на вопросы миссис Левинсон, сам меж тем пялился на ноги Марион.

В кино Марион постаралась сесть так, чтобы между ней и Маркусом поместилась мать. Никуда я с ним сегодня не пойду, думала она, ни за что. А если мама станет меня принуждать, выложу ей все-все.

Но ничего выкладывать не понадобилось. Вечер прошел en famille[12]. Когда Маркусу настало время идти спать, мистер Левинсон, разрумянившийся, сияющий, вручил ему похрустывающий конверт.

В эту ночь Марион заперла дверь, выключила свет и лежала, дрожа от страха, но, не услышав

---

[12] Примечания: 12
В семейном кругу (*фр.*)

никаких подозрительных звуков, в конце концов заснула.

Наутро, когда она спустилась к завтраку, оказалось, что Маркус уже уехал — ему надо было вернуться на корабль.

— Могла хотя бы встать пораньше, попрощаться с ним, — сказала мать.

— Мама, — вырвалось у Марион, — он такой противный!

— Противный? — переспросила мать, поразившись такому взрыву чувств. — Что же в нем противного?

— Противный… и все тут! Не хочу об этом говорить. Прошу тебя, не заставляй меня никуда с ним ходить, очень прошу!

Миссис Левинсон обняла ее за плечи.

— Детка, это ты зря: просто он тобой любуется, он же сказал, что ты красавица. Он ничего плохого не хотел, повадка у него такая, вот и все; вспомни только, что ему довелось пережить. Мы должны быть благодарны…

В следующем году Маркус прислал несколько писем, но сам не приезжал. Миссис Левинсон воспринимала письма Маркуса как свидетельство его достижений, славных свершений, следовавших одно за другим.

— Билл, милый, Марион, дорогая: Маркус! — выпевала она — можно подумать, Маркус явился собственной персоной.

Известие, что Маркус опять приедет, и взбудоражило, и напугало Марион. За прошлый год она обрела уверенность в себе: ведь она уже не школьница, а студентка, привлекательная девушка, и живет, как и положено молодой лондонской еврейке на выданье, чередуя вечеринки со свадебными приемами и благотворительными комитетами, а встречают и провожают ее молодые богачи на мощных машинах. Тем не менее она насторожилась. На этот раз, когда мать сообщила: «Радостная новость, Маркус приезжает!» — она сказала только: «Мама, я что, должна быть в это время дома? Ты же знаешь, я его не переношу», а неизбежный скандал отвратила так: «Будь по-твоему, но я с ним никуда не пойду. Нет и нет». В конце концов, чтобы хоть как-то помирить их, пришлось вмешаться мистеру Левинсону.

Маркус прибыл в той же форме, о переменах свидетельствовала лишь красная полоска на рукаве, говорившая, что он получил повышение. Марион поглядывала на него с опаской: так кошка посматривает на терьера, который, того и гляди, сорвется с поводка.

— До чего ж она похорошела, — сказал Маркус, пожирая Марион глазами. — Стала еще красивее. А нарядная какая! Надо надеяться, она согласится сходить со мной куда-нибудь.

— Согласится, как не согласиться, — сказала миссис Левинсон, дочь злобно зыркнула на нее.

На этот раз Марион сочла, что Маркус ведет себя не только пугающе, но и оскорбительно, так что он не только устрашал, но и злил ее. Она уже привыкла к почтительным ухаживаниям, комплиментам, которые расточались без дальнего умысла, а то и без какого-либо умысла вообще — ведь последствием их мог быть разве что ужин в дорогом ресторане или вечер в ночном клубе, а замужество крохотным блестящим зайчиком маячило лишь в конце длинного туннеля.

— Почему это ты не хочешь никуда пойти со мной? — спросил Маркус, едва они остались в гостиной одни. — Раз в год, на большее я не претендую.

— Маркус, я занята, — ответила она. — У меня нет и минуты свободной.

— Ты такая красотка, — сказал он. — Тебе надо встречаться не с этими маменькими сынками, а с настоящими мужчинами, — и потянул к ней лапищу.

— А я и встречаюсь с мужчинами! — отрезала Марион, отодвигаясь от него, и рассердилась на себя: с какой стати она удостаивает его ответом. — С мужчинами и постарше, и поинтересней тебя.

Маркус меж тем улыбался как ни в чем не бывало.

— Ну уж нет, — сказал он. — Они не объехали весь свет, как я. Не повидали того, что я.

На этот раз он собирался прожить у них три дня. Зная это, Марион позаботилась до отказа заполнить эти дни встречами и всевозможными делами, отменить которые было никак невозможно, так что дома она почти не бывала.

— Что бы тебе быть с ним поприветливее, — сказала мать. — Сколько он у нас пробудет — всего ничего.

— Мама, он — твой гость, — сказала Марион, — не мой. — Но миссис Левинсон призвала на помощь мистера Левинсона — объединив силы, они иногда принуждали ее есть дома, и все время, пока они сидели за столом, Маркус пожирал ее глазами.

На ночь она, как и прежде, запирала дверь. На вторую его ночь у них в доме она проснулась в ужасе: ей почудилось, будто ручка двери медленно поворачивается. Но в комнате стояла тишина,

ручка не двигалась, из коридора не доносилось ни звука.

В этот раз Маркус ходил не в форме, а в коричневом сидевшем на нем мешком костюме. При всей его замкнутости и непроницаемости в нем все же проглядывало нечто опасное и вместе с тем убогое, приводившее на память немые немецкие фильмы. Он часто уходил по своим делам; когда они оставались вдвоем, намекал на эти дела, многозначительно подмигивая, поводя плечами, но с какой целью — напугать или вызвать ревность — неясно.

В третий, последний его вечер у них все разошлись кто куда: мистер и миссис Левинсон отправились на благотворительный бал, Марион на ужин в ресторане, Маркус, как он загадочно сообщил: «В Вест-Энд».

Было уже за полночь, когда кавалер привез ее домой, робко клюнул в щеку, распахнул перед ней дверцу машины и с тем отъехал. Дом был погружен в темноту, но, пока Марион вставляла ключ в замок, сквозь разноцветные стекла входной двери пробился слабый свет.

Пройдя в холл, она увидела, что на диване в гостиной вольготно раскинулся Маркус — он наливал себе виски из наполовину опорожненной

бутылки. За его спиной предательски раскачивалась распахнутая настежь дверца коктейль-бара.

— Эй! — окликнул он Марион и медленно, словно пробуждаясь от спячки, поднял на нее глаза. — Эй!

Она в ужасе кинулась, сломя голову вверх по лестнице, как вдруг услышала — бах! — это он перевернул стол вместе с бутылкой и стаканом.

— Эй! Давай поговорим… красотка… эй, иди сюда!

Она слышала, как он вывалился в холл, обогнул лестницу, и тут наступила на платье, споткнулась и упала.

— Марион! Красотка! — И вот он уже повалился на нее, обрушился гранитной глыбой, так что у нее занялся дух. — Красотка! — Он еле ворочал языком, похоже, был удивлен: не мог поверить своему счастью, и тут Марион — от страха она оцепенела, даже закричать не смогла: голос отказал, — почувствовала, как его рука шарит у нее под юбкой.

А потом, уже после того, как дверь в его комнату захлопнулась, она, собравшись с силами, дотащилась до своей комнаты и рухнула на кровать — отчаянно ждала, когда же наконец подъедет машина, но вот машина развернулась

у дома, въехала в гараж, мотор в последний раз вздрогнул и замолк.

Она вмиг вскочила, пробежала темным коридором и, едва не падая, устремилась вниз — к утешению и безопасности.

— Мама, — стенала она. — Мама, мама.

В холле, подняв к ней помертвевшие — точь-в-точь две окаменевшие луны — лица, стояли родители.

— Что случилось? — вскрикнула мать. — Детка, родная! Что случилось?

— Мама! — взвыла она. — Маркус… — Ноги у нее подкосились, отец едва успел ее подхватить.

Миссис Левинсон метнула на нее вопрошающий взгляд — в нем разом читались и ужас, и тревога, на крыльях мести вознеслась вверх по лестнице и забарабанила в дверь Маркуса.

— Вон! — надрывалась она. — Вон из моего дома, беженец паршивый! Вон, вон, вон!

Бравый спортсмен
Пер. Л. Беспалова

— Это же Гитлер! — поразился Розенбаум. — Вы с Гитлером!

— Дайте-ка посмотреть. — Грей своей гренадерской походкой подошел к Розенбауму — тот пристроился в кожаном кресле с альбомом на коленях; на его лице, бледном, нервном, горбоносом, выразилось потрясение. Грей склонился над ним, двигался он закостенело, но не без прежнего изящества, время пощадило его волнистую седую шевелюру, тогда как рыжие волосы Розенбаума уже начали отступать со лба. — Да, — сказал Грей, рассматривал фотографию: улыбки, дружеское рукопожатие. — Это Гитлер.

— Когда? — спросил Розенбаум, он никак не мог прийти в себя.

— В тысяча девятьсот тридцать четвертом, — сказал Грей.

— Где?

— В Берлине. В Канцелярии.

— Но почему?

— Было некое недопонимание. Мне казалось,

я смогу внести ясность. Речь шла о нацистской и нашей концепции молодежного движения.

— Да, — Розенбаум, иронически хохотнув, вскинул голову — посмотреть Грею в глаза. — Гитлерюгенд — не совсем то, что бойскауты.

— Перед ними ставились разные задачи.

— Вот именно. И слава Богу! Впрочем, потом к нему ездил и Ллойд Джордж[13]. И герцог Виндзорский[14]. Позже вас. Гораздо позже. Ну и как вам Гитлер? Впрочем, по вашему лицу все видно. Он произвел на вас сильное впечатление. Понравился. Против его обаяния трудно было устоять.

— Против его силы — вот против чего трудно было устоять, — сказал Грей. — Неимоверной силы. Ни с чем подобным я ни у кого не сталкивался. Впоследствии, как мы знаем, он употребил ее во зло.

— Он всегда употреблял ее во зло! — взревел Розенбаум, приподнявшись в кресле, Грей, ошарашенный таким пылом, чуть отшатнулся, словно уклоняясь от мяча, оплошно направлен-

---

[13] Примечания: 13

Дэвид Ллойд Джордж (1863–1945) — премьер-министр Англии с 1916 по 1922 г., один из лидеров Либеральной партии.

[14] Примечания: 14

Эдуард VIII (1894–1972) — король Англии с января по декабрь 1936 г. В 1936 г. отрекся от престола и снова стал герцогом Виндзорским.

ного боулером ему в голову. Розенбаум так же внезапно сник, встряхнул головой и перевернул страницу. — Я был ошеломлен, — сказал он. — Столько воспоминаний пробудилось. Отнюдь не таких, как ваши, Джордж. Завидую вашим воспоминаниям. Если можешь наследовать прошлое, легче жить.

Они познакомились год назад — одновременно вошли в тесный, еле ползущий лифт, пропитавшийся прилипчивым, едким запахом политуры. На Грее был туго подпоясанный, забрызганный дождем плащ, но в руке он держал не стек, а сетку с покупками. Розенбаум, как заведено у сотрудников Би-би-си, был одет в твидовый пиджак с кожаными нашлепками на локтях и фланелевые брюки. По пути к остановке автобуса на Финчли-роуд они неизбежно сталкивались, и не раз, но до сих пор в разговоры не вступали.

А тут Грей с высоты своего аристократического роста вгляделся в галстук Розенбаума и спросил:

— Это галстук Ориеля?[15]

— Ну да, — сказал Розенбаум. — Вас, по-видимому, это удивило.

— Нет, нет, нисколько.

---

[15] Примечания: 15

Ориель — один из колледжей Оксфордского университета. Выпускники каждого колледжа носят галстуки определенной расцветки.

Лифт, как обычно подскочив, остановился на пятом этаже, Грей дернул на себя решетчатую дверцу, но наружную дверь не открыл.

— А вы? — спросил Розенбаум. — Вы тоже учились в Оксфорде?

— В Модлине[16]. Моя фамилия Грей.

— Моя — Розенбаум.

Они пожали друг другу руки. Рука у Грея была крупная, сухая, в ней чувствовалась сила.

— Зайдите выпить сегодня вечером.

В квартирке Грея, не больше его собственной, этажом выше, Розенбаума окружили всевозможные трофеи, медали, головы зверей, ружья, крикетные биты, фотографии: Грей на крикете в фуфайке и кепке с эмблемой сборной Англии, Грей в форме «Коринтианз»[17], Грей верхом на лошади, Грей с Черчиллем, Грей с удочкой, Грей с ружьем, рядом с ним толстомордый индиец в национальном костюме и тюрбане, у их ног распростерся убитый тигр.

— Так вы Дж. Б. Грей! — сказал Розенбаум.

— Вот так так! Вы обо мне слышали?

— Разумеется, слышал.

---

[16] Примечания: 16

Модлин-колледж-скул — мужская частная средняя школа в Оксфорде.

[17] Примечания: 17

«Коринтианз» — любительский футбольный клуб.

— Разумеется? Какое там разумеется. Я уже стар. Вышел в тираж.

— Дж. Б. Грей! — сказал Розенбаум, впившись в него с пылом археолога. — Надо же — встретиться с вами здесь, в Коулбрук-Корте!

— Что будете пить? Виски? Виски нет. Как насчет шерри?

— Спасибо, да, — сказал Розенбаум, оглядывая комнату: изобилие лиц и артефактов — залежи прошлого — подавляли его, и у него промелькнула мысль: он еще жив! Вот он где!

— Как можно, — сказал он. — Оксфорд вас не забыл. Вы же играли в трех сборных. В финале по регби вы не участвовали, из-за травмы. И ваш мировой рекорд по прыжкам в высоту.

— Mens sana[18], — сказал Грей, подавая ему шерри, — прямая спина, двубортный синий блейзер, оттененный галстуком МКК[19] в положенную ему кричащую полоску. — В моем выпуске я был первый по классической филологии. Обошел Дж. Д. Брауна.

— Лорда Уиррола, лорда-канцлера.

---

[18] Примечания: 18

Начало латинского выражения: «Mens sana in corpore sano» — «Здоровый дух в здоровом теле».

[19] Примечания: 19

МКК — Мэрилебонский крикетный клуб.

— И вице-короля Индии. Полагаю, он мне этого не простил. Считалось, что он прекрасный классицист. Полная ерунда! Латынь он знал сносно. А в греческом был не силен. Стипендию получил за английское сочинение. Первым никогда не был.

— А вы?

— Был, на первом публичном экзамене[20].

— Но не на выпускном? Слишком много времени отнимал крикет?

— Никак нет. — Грей насупился. — Слишком много времени отнимало частное репетиторство на каникулах. Вечно не хватало денег, — и по-стариковски медленно, осмотрительно сел, Розенбаум поспешил отвернуться: его пронзила жалость.

— А вы отличались в науках? — осведомился Грей.

— Был стипендиатом по истории или тому, что сходило за историю.

— И как окончили?

— Первым. — Розенбаум смешался. — Разве это имеет значение?

— Очень даже имеет! — попенял ему Грей. — Ничуть не меньшее, чем участие в сборной. Чем

---

[20] Примечания: 20

Первый публичный экзамен на степень бакалавра в Оксфордском университете сдается по английскому языку или классическим языкам.

любой рекорд! Независимо ни от чего. Ну а дальше будь что будет.

— Разочарование, вот что, — ляпнул Розенбаум, не подумав.

— Нет, — сказал Грей. — Воздаяние — вот что. Ловите момент, Розенбаум! Carpe diem! Я радовался каждому моменту моей жизни.

— Да, — сказал Розенбаум, глаза его обшаривали комнату, разглядывая фотографии — мощные удары, бесконечная цепь великих свершений. — Но это зависит от того, какие у кого воспоминания.

— Чудесные воспоминания! — воскликнул Грей. — Мне везло, не отрицаю.

Да уж везло, подумал Розенбаум, снова обозрев комнату, запущенные, пожелтевшие стены — до чего ж убогая оправа для такого великолепия.

— Чудесные деньки, Розенбаум! Дивные деньки! Больше нам таких не видать! Мир изменился, но жить в нем еще можно.

— Если остаться в живых, — сказал Розенбаум.

Грей перевел глаза на него.

— Извините за любопытство. Где вы родились?

— В Вене.

— А потом… потом вы приехали в Англию?

— Да, в тысяча девятьсот тридцать восьмом.

После аншлюса[21]. Еще бы чуть-чуть, и опоздал. Вы знаете про аншлюс?

— Как же, — сказал Грей, — аншлюс. — Между ними явственно обозначился разрыв, пролегла пропасть.

Ни о каком диалоге и речи быть не могло, но слушал Грея он с упоением. Вечер за вечером. Час за часом — легендарные моменты. Огромный мир вставал перед глазами, облекался плотью. Такого Оксфорда он не знал. Дерзкие проделки. Пиво на завтрак. Дважды по сто лет[22].

— Вам не понять.

— Чего, крикета? Нет, никогда не понять.

— Империя сама по себе. Поставившая себя над политикой.

— Отторгнувшая иностранцев.

— Иностранцы сами себя отторгли.

— Возможно, — сказал Розенбаум. — Я ходил смотреть на крикет в парках.

— Парки! — воскликнул Грей. — Лучшая площадка для крикета.

— Я ходил на крикет. Когда пытался стать англичанином. Но меня клонило в сон. На сол-

---

[21] Примечания: 21

Аншлюс — захват Австрии нацистской Германией 11–12 марта 1938 г.

[22] Примечания: 22

Сто лет в крикете означает выигрыш ста очков.

нышке снисходит такой покой.

— Ты или англичанин, или нет, Розенбаум, — сказал Грей. — Я родился в Суссексе. Мой род жил там еще до Вильгельма Завоевателя[23].

— Вы не ошибаетесь?

— Нисколько. Сохранились письменные свидетельства. Суссекс был королевством. Узкая прибрежная полоса, по преимуществу болотистая. Лишь самым богатым и сильным удавалось выбраться из тамошних лесов. Никаких тебе дорог, Розенбаум! Хочешь не хочешь, а торчи в тамошних чащобах вплоть до середины семнадцатого столетия!

Пропасть была бездонной — ее не перейти.

Сходились они всегда у Грея, не у Розенбаума, зато Розенбаум часто прихватывал бутылку: шерри, виски, а как-то раз на день рождения Грея — шампанское.

— Всегда пил шампанское в моей ложе в «Лордзе»[24], — сказал Грей.

А однажды вечером бросил через плечо:

— Вы не могли бы… это несколько неловко. Но

---

[23] Примечания: 23

Вильгельм I Завоеватель (1027–1087) — герцог Нормандии, в 1066 г. высадился в Англии и, разбив англичан, стал английским королем.

[24] Примечания: 24

«Лордз» — крикетный стадион в Лондоне.

тут такой случай. Не могли бы ссудить мне пять фунтов? Всего на неделю или около того.

— Разумеется, — поспешно ответил Розенбаум. — Пяти фунтов хватит? Может быть, лучше десять?

— Да, десять. Десять лучше. — Грей повернулся, ловко, что твой фокусник, зажав кредитку в руке.

И тут же подошел к стене, снял биту, ту самую, сказал он, которой в «Овале»[25] одержал победу над австралийцами. И этот заем, и этот эпизод растаяли, точно мираж, однако острое ощущение жалости, желание, чтобы ничего этого не было, не проходило. Хотя он наперед знал, что нечто подобное неминуемо случится; что под скоротечной эйфорией Грея, под морем забавных историй и воспоминаний крылось течение, куда более глубокое и леденящее.

— За мной должок, — говорил он время от времени.

— Ради Бога, не беспокойтесь, — отвечал Розенбаум.

— Веду переговоры о новой колонке. Должен вот-вот приступить. В вечерней газете. Всегда

---

[25] Примечания: 25

«Овал» — крикетный стадион в графстве Суррей, там обычно проводятся международные крикетные матчи.

зарабатывал этим на жизнь. Даже когда был капитаном сборной. Перебежки, они будут потруднее.

А вот каково — не трудно ли — ему живется здесь, подумал Розенбаум, в захудалом Коулбрук-Корте, по прямой от «Лордза», храма его искусства, куда ему еще по силам доехать на автобусе, с тем чтобы засесть в «Лонг-рум»[26]. А где «Лордз», там и «Лонг-рум», вот только в состоянии ли он потом добраться домой? В его жизни имелись тайны, в ее пространстве зияли пространные пустоты. По стенам, кроме фотографий, где он играл в крикет, футбол, охотился, ездил верхом, висели и фотографии, на которых он был изображен с женой в окружении восхищенно взиравших на него кадетов в форме. «Миледи» — так он неизменно именовал жену — широкоплечую, сурового вида даму с обкорнанными волосами и холодно смотрящими в объектив светлыми глазами. Они, сказал Грей, сорок лет с гаком содержали военно-морское училище на одной из речушек в Гемпшире. «За все эти годы ни гроша на нем не заработали». Чего ради в таком случае? Чем оно было для него — прибежищем?

---

[26] Примечания: 26
«Лонг-рум» — клуб при стадионе «Лордз».

— Как-то нас навестил Браун, — сказал Грей, — в бытность свою канцлером. «Грей, дружище, — сказал он, когда мы прогуливались по нашему розовому саду, — у вас здесь чудесно, но ведь, в сущности, это тихая заводь, разве нет?» На это я ему ответил так: «Что лучше — быть успешным или счастливым, вот в чем вопрос».

— А вы были счастливы? — спросил Розенбаум, пытливо вглядываясь в него.

— Невероятно счастлив. Есть ли задача, более достойная, долг, более священный, чем помочь мальчишкам стать мужчинами? Кадетам — моряками.

О жене он говорил, отдавая, как положено, дань уважения.

— Она была такая рисковая. Такая храбрая. Охотница, каких мало, мы с ней и познакомились на псовой охоте. А уж как машину водила — не знала, что такое тормоза, гнала что есть мочи. Без нее мне бы не справиться — она была незаменима. Не давала мальчишкам потачки. Перед завтраком — хвать за шиворот и в реку. Ее не стало десять лет назад. — Грей понизил голос. — Какая потеря, Розенбаум. Невосполнимая потеря.

А ведь к этой загадке, подумал Розенбаум, есть ключ, и что, если этот ключ — Миледи, сильная,

властная, движущая сила, которая и задвинула его… в тихую заводь.

— Она загубила его жизнь, — сказал Чарльз, сын Грея, — загубила жизнь отца.

Он появился после того, как Грей исчез. Предвестия или что-то вроде того были. Три раза, три вечера один за другим Грей не отзывался на его звонок, хотя из-под двери просачивалась полоска света. А как-то раз они столкнулись в холле, и Грей тут же отвернулся — лицо застывшее, отчужденное, — и, крупно, одеревенело переставляя ноги, зашагал вверх по лестнице, чтобы только не ехать с ним в лифте.

Его окутывала пугающая меланхолия. Куда девалась радость? Вот она, думал Розенбаум, оборотная сторона радости, он давно догадывался, что иначе и быть не может.

А потом он пропал. Его не было видно, не стало видно и света под дверью. В конце концов Розенбаум справился о нем у швейцара, и тот смешался.

— Он уехал, сэр. Такое и раньше случалось. Он вернется, помяните мое слово.

А потом появился сын. Грузный, за пятьдесят, не такой высокий, как отец, но с таким же прямым носом и серыми глазами, а вот сложением

он, по всей вероятности, пошел в мать.

— Отец попросил меня зайти к вам. Сказал, ему жаль, что он не попрощался с вами. Подумал, что вы будете беспокоиться.

— Я и беспокоился, — сказал Розенбаум. — Куда он уехал?

— Он… он занемог.

— Понимаю, — сказал Розенбаум, воображая, что так оно и есть.

— С ним время от времени такое случается, — сказал Чарльз, сын. — Тогда ему приходится уехать. Чтобы… чтобы за ним был уход. Это с ним с тех пор, как умерла мать.

— Войдите же, прошу вас, — сказал Розенбаум, и тут они разговорились.

Чарльз был школьный учитель, когда-то он служил в армии. Поначалу замкнутый, он пил виски, поносил мать.

— Из-за нее его жизнь пошла прахом. Из-за нее он уехал в эту проклятую глушь. Из-за нее торчал там.

— Из-за нее? — спросил Розенбаум.

— Ну да. Иначе зачем бы ему торчать там, при его-то известности?

— А что, если именно его известность тому причиной? — сказал Розенбаум.

— Я не вполне вас понимаю.

— Не важно.

— Вы были добры к нему, — сказал Чарльз.

— А он ко мне, — сказал Розенбаум. И засмеялся. — Для меня это честь. С ним я путешествовал вокруг света, во времени и пространстве. Узнал о вещах, о которых мне никогда бы не узнать.

— Да, да. Он — захватывающий рассказчик.

— Но иметь такого отца, наверное, нелегко?

— Немыслимо. В чем я мог бы его превзойти, когда он все превзошел? Если я играл в крикет, то он был капитаном английской сборной. Если я играл в футбол, то он участвовал в розыгрыше кубка. Если я получал стипендию, то он получал стипендию почище. Если знать заранее, что до него не дотянуться, наверное, жить было бы легче.

— Я, пожалуй, не стал бы ему завидовать, — сказал Розенбаум.

— Чего не было, того не было. Никогда ему не завидовал.

Через десять дней Грей вернулся. Постучал в дверь Розенбаума.

— Как насчет того, чтобы спуститься?

В окружении своих сувениров он снова впал в эйфорию, рассказывал — это была одна из излюб-

ленных им тем — о Сингхи, родовитом индийце, его товарище, наставнике, бэтсмене, воине; об охоте на пантер, пограничных стычках, первых всеанглийских и суссекских соревнованиях по крикету; о странной интермедии на Женевском озере[27].

— Лига Наций. Я был его[28] секретарем.

— Англия и Индия, — сказал Розенбаум. — Диковатый симбиоз.

— Вовсе нет, — сказал Грей. — Мы пришлись друг другу по душе. Уважали друг друга.

И вот — фотография с Гитлером, вгрызавшаяся, как термит, врезавшаяся в память, погнала его в газетный архив Би-би-си, к пожелтевшим вырезкам — интервью, воспоминаниям.

Он не понимал. Да и как он мог понять? Никто из них не понимал. Тем не менее термит все грыз и грыз.

— Гитлер… — начал он как-то вечером.

— Это же было в тысяча девятьсот тридцать

---

[27] Примечания: 27

Женева была местом пребывания основных организаций Лиги Наций, международной организации, существовавшей с 1919 по 1946 г., имевшей целью развитие сотрудничества между народами и гарантию мира и безопасности.

[28] Примечания: 28

По-видимому, речь идет об Антони Идене, английском государственном деятеле, в 1935 г. министре по делам Лиги Наций.

четвертом году, — веско прервал его Грей.

— То же самое вы говорили и в тысяча девятьсот тридцать девятом. Я читал вашу статью «Гитлер хочет мира».

— Я так думал, — сказал Грей. — И не я один.

— И это после Бухенвальда! — сказал Розенбаум. — После Хрустальной ночи! После того как они заставляли евреев вручную скрести венские улицы.

— Что мы знали об этом? — спросил Грей.

— А вы и не хотели ничего знать. Вы проглотили все: «Пророк, объединяющий страну с пылом и страстью Магомета!»

— Я обманулся, — сказал Грей. — Он был прирожденный актер.

— А разве вы не хотели обмануться? Вы назвали Гесса[29] славным, прямым парнем.

— Такое впечатление он производил.

— Вы говорили, что гитлерюгенд ходит в форме, чтобы стереть классовые различия. Что для Гитлера главная задача — обеспечить благополучие граждан! Что гитлерюгенд может дать нам урок дисциплины.

---

[29] Примечания: 29

Рудольф Гесс — личный секретарь Гитлера, на Нюрнбергском процессе приговорен к пожизненному заключению как один из главных военных преступников.

— Я в это верил, пусть и ошибочно.

— А во что вы еще верили? — Голос Розенбаума сорвался на крик. — Что еще вы приняли на веру? Что его национальному государству требуется «все или ничего»? И чтобы достичь «всего», необходимо покончить с «еврейским противостоянием»!

— Розенбаум, друг мой, — сказал Грей, — вряд ли вы можете быть тут объективным.

— Нет, никак не могу! — закричал в голос Розенбаум. — Как я могу быть объективным, если моя мать погибла в газовой камере, отца забили дубинками насмерть, сестру утопили в грязной жиже! Нет, я никак не могу быть объективным!

— Мы и вообразить не могли ничего подобного, — сказал Грей, понизив голос чуть ли не до шепота.

— Как же, как же, ни один англичанин ничего подобного не мог себе вообразить. Ни один бравый спортсмен.

— Мне стыдно, — сказал Грей. — Довольно вам этого? Стыдно.

— Нет, это мне стыдно, — сказал Розенбаум, отвалившись в кресле, задрав нервное, горбоносое, еще более бледное, чем обычно, лицо, он возвел глаза к потолку. — Я вел себя недопустимо. Изви-

ните. Прошу вас, расскажите что-нибудь. Прошу вас, расскажите о крикете.

Арнольд Уэскер
Сказал старик молодому
Пер. В. Голышев

Год 1973
I

Старик был его двоюродным дедом, грузный, упрямый, с подагрическими пальцами еврей; когда его нежно любимую двадцатитрехлетнюю дочь задавил автобус на Боллс-Понд-Род, в Долстоне[30], дед перестал выкуривать сорок сигарет в день и вернулся к религиозным ритуалам старозаветного иудаизма.

Молодой человек, его внучатый племянник, словно существо с другой планеты, был жестким продуктом века компьютеров, разветвленных корпораций, «мозговых трестов», эпохи «человека реалистически мыслящего».

Старик играл в карты, болтал, ворчал и был глух. Он вообще плохо слышал и не слышал, как сам перебивает других, а когда ему на это указывали, отвечал детским хихиканьем и виновато морщил лицо.

Молодой человек, отпрыск родителей-леваков, колебался между унаследованной гуманностью и «реалиями управления», которым его обучали

---

[30] Примечания: 30
Долстон — район в центре Лондона.

в университете. Говорил он быстро, громко, с американским акцентом, радостно надышавшись им, словно свежим морским воздухом, во время продолжительных каникул в Штатах, где «все происходит», «тогда как здешняя страна, эта дурацкая, старомодная колониальная наседка ленива, бестолкова, мертва, как потухший вулкан!».

Старик отказывался от любой еды, кроме кошерной, а потом сомневался, кошерная ли она была; хвастался фотографиями детей и внуков, с которыми жил в провинции; любил прогуляться по Вест-Энду, выпить кофе в кондитерской или съесть сандвич с солониной в «надежной» закусочной; надеялся — в восемьдесят два года — найти вторую жену в синагоге или где-нибудь; и, по-видимому, был счастлив, хотя удивлялся тому, что еще жив.

Молодой человек был беспокоен, раздражителен с подругами, которых не мог понять, потому что в его мире единственными проблемами, требовавшими решения, были организационные. У него случались приступы депрессии и эгоизма, сменявшиеся вспышками любви и великодушия; свои доводы он подкреплял заимствованиями из источников, которых не читал, а только знал

о них понаслышке, справедливо полагая, что родители и другие оппоненты о них даже не слышали и смолкнут перед высшим знанием. Он как будто слегка негодовал на то, что помещен на эту планету, хотя во Вселенной должны быть места получше.

Двоюродный дед обитал в заскорузлом мире стариков, утренних молитв, библейских пророков и туманных надежд на Обетованную землю. Нетерпеливый внучатый племянник жил в сложном мире европейских рынков, этики профита и компетентных мужчин в очках с прямоугольной оправой. Старик внимал и верил только голосу желудка и других первичных потребностей. Молодой человек внимал и верил только специалистам.

Они взирали друг на друга, эти двое, соединенные силой своих различий; общими у них были только серые глаза, родовой признак, и старик видел, что перед ним:

— Образованный парень? Очень хорошо! Очень хорошо быть образованным! И я бы хотел быть образованным. Думаешь, я всю жизнь был портным? Я не скажу, что всю жизнь был портным, я был и коммивояжером, продавал вещи стареньким душкам, от двери к двери, вот почему я

бодрый и здоровый — свежий воздух! Смотри! — Он стучал себя в грудь и похохатывал, чтобы спрятать свою несостоятельность перед лицом университетского парня.

Университетского парня подмывало сбежать от общения с этим уже недолговечным пережитком тяжелого еврейского прошлого, о котором он знал, но, подобно своим родителям, сам его не пережил. Его раздражало избыточное добродушие старика, коробило его невежество и то, с какой убежденностью он цеплялся за примитивные религиозные догмы, и смущало, что у них нет общей территории, на которой он мог бы остановить неиссякающий поток стариковского вздора.

— Это все надувательская машина, понимаешь ты? — твердил старик. — Все правительство, советы всякие. Разбойники! Паразиты! — Его особенно забавляло это слово из его революционной молодости, когда и он, и сестра, и братья все были членами Еврейского рабочего союза[31]. — Видишь, я не забыл! Паразиты! Гангстеры!

---

[31] Примечания: 31

Всеобщий еврейский рабочий союз Литвы, Польши и России, известный у нас как Бунд, основан в 1897 г. В 1906–1912 гг. входил в РСДРП, действовал в Европе до 1930 г. Участвовал в польском Сопротивлении во время Второй мировой войны. Остатки его сохранились в США, Канаде, Австралии и Великобритании. Входит в Социалистический интернационал.

Его сестра Сара, бабка молодого человека, пыталась оградить внука от стариковских дурачеств.

— Отстань ты от него. Что он знает о Бунде? Твой мир не его мир.

— Его что?

— Его мир. Мир!

— А что с его миром?

— Я говорю, это другой мир.

— Другой? Где? Где он? Я не знаю другого мира. Меня не учили в школе другому миру. Бог создал только один мир. В Библии сказано. В Библии говорится: «и Бог сотворил небо и землю в одном мире».

— Не «в одном мире», — поправил внучатый племянник. — Просто «небо и землю». В Библии ничего не говорится об «одном мире».

— А о «земле» что-нибудь говорится? Больше, чем одна «земля»?

Нечем крыть.

— И почему он носит пуловеры с дырками?

— Спроси его, — сказала бабушка молодого человека.

Амос — так его звали — счел, что против него сговорились.

— Послушайте, хрычи! Я вырос из того возраста, когда заботился о нарядах. Когда-то не

заботился, потом заботился, а теперь опять не забочусь. — Амос все время беспокойно двигался, словно порывался куда-то пойти, что-то сделать, а его задерживали, и ему не терпелось, словно в его теле заработал стартер. Поэтому трудно было понять, насколько он серьезен в любом вопросе и насколько уверен. Особенно беспокоились его глаза, стремясь узнать, как его воспринимают. — Одежда — это вещи, которые ты напяливаешь, чтобы не мерзнуть. Важно только, чтобы подходили по размеру. Так?

— Я всегда хорошо одевался. — Старик как будто ничего не услышал. — А на него посмотрите. Рубашка в розовую клетку, на галстуке другая клетка, на брюках — еще другая.

— Я люблю клетчатое. Ну и что?

— И цвета не подходят.

— Я дальтоник.

— Клетки, клетки — я не удивляюсь! Я удивляюсь, что ты еще не косой! — Старик ужасно веселился. И все слышал!

Нечем крыть.

Больше всего злил его смех.

Смех каждый раз был не к месту и, как правило, без причины. Как и все в нем, смех был разрозненный, детский и виновато-подобострастный,

дабы собеседнику стало совестно оттого, что он обладает кое-какими знаниями, кое-каким умом.

— Так скажу, — говорит он, — я старик. — И смеется. — Он думает, что никогда не будет стариком. — И смеется. И тычет в бок. А потом кричит, как будто не он, а внучатый племянник глух: — МЫ ВСЕ СТАРЕЕМ, ПОНИМАЕШЬ? ТАКОВА ЖИЗНЬ, Я ГОВОРЮ. БОГ ЕЕ ТАКОЙ СОЗДАЛ! — Смеется. И тычет в бок. Трясет пальцем. — Но я не жалуюсь. Жаловаться? Кто жалуется? Я прожил хорошую жизнь. Долгую жизнь. Мне восемьдесят два года, не забывай, и, даст Бог, доживу до ста. И что ты тогда скажешь? — Опять смеется и тычет в бок, но теперь поднимая брови, а молодой человек ерзает и мрачно молчит, в негодовании оттого, что нечем ответить и надо — этого ожидают от него — уважить старость.

Но нельзя сказать, что старик совершенно не сознавал своего слабоумия и не воспринимал окружающий мир. Потому и похохатывал неуверенно — понимал, во что он превратился, и прятал это под смехом. Он обводил взглядом семью, отчасти чтобы увидеть, кто над ним смеется, отчасти с просьбой о помощи — какой, он, конечно, сам не знал, — может быть, чтобы спасли его от старческой бестолковости, потому что

кому этого хочется и кто не чувствует происходящего с собой? Поэтому и бегали его серые глаза, такие же серые, как у внучатого племянника, и пытались понять, что думают о нем родные, а сам он, не в силах себе помочь, все болтал и болтал перед несчастным молодым пленником.

— Он ничего не говорит! — смеялся упрямый старик. — Что ты делаешь? Ты меня анализируешь? Анализируешь, что я говорю? Посмотрите на него — сидит и думает важные мысли. Ты думаешь важные мысли? Так скажи мне эти важные мысли.

— Дядя Мартин, у человека весь день мысли.

— О деньгах мысли? Ты думаешь о деньгах? У него не хватает денег?

Молодой человек пожимал плечами, но, помня, что старикам надо оказывать почтение, улыбался вместе с остальными родственниками и громким голосом поправлял его, хотя и подозревал, что дед отлично слышит все, что хочет и когда хочет.

— Прекрасный у вас парень. Он прекрасный парень. — Старик явно был рад, что его терпят. — Очень хороший, очень хороший, очень, очень. Но тебе нельзя так много думать. — Он засмеялся.

За первые три недели после приезда он успел встретиться со всей родней. Бесчисленные пле-

мянники и племянницы наплодили внучатых племянников и племянниц, впрочем, не столько, чтобы он не смог чудесным образом их запомнить. Почти всех. Он умолкал на секунду пред маленьким человеком и говорил:

— Подожди-ка. Дай вспомнить. Ты… ты… — И не ошибался.

Но молодой человек, поучившийся в университете, выделялся среди всех как особая задача. Однако деда это не пугало. Он сам должен был бы поучиться в университете.

— Нам всем полагалось бы!

При всякой встрече старик испытывал потребность высказать какую-нибудь мысль, нескладную идею, вынести мнение. Иногда он адресовался к внучатому племяннику, иногда ко всей компании, но взгляд его все равно останавливался на парне — как он к этому отнесся?

— Нет, тебе нельзя так много думать. Будешь много думать, навредишь правому полушарию. Ты это знаешь? Правое полушарие отвечает за логические вещи, а левое — за духовные. За чувства. То, что называется «душой», — за такие вещи. Надо, чтобы работали оба. Ты меня слушай, я не шучу. Бог создал человека так, чтобы он работал правым полушарием мозга и левым полуша-

рием тоже. И женщину, конечно. В наше время женщину надо учитывать. Больше, чем себя, а? Ты работаешь только правым полушарием. Во всем тебе логика нужна. Это тебе не полезно. А? Посмотрите на него! — Смеется и тычет в бок. — Он думает, я шучу. Я не шучу, между прочим. Нельзя все анализировать. Люди пробовали. Я пробовал. Может, у меня не такой большой мозг. Может, у тебя такой большой. Но сомневаюсь. Послушай меня. Знаю, я не специалист, но у тебя голова расколота. Прямо посередине. Вот! Он думает, я чушь несу. Посмотрите на его серьезное лицо. Прямо посередке. Одно полушарие — для науки, все, что можно доказать и сделать с фактами. Другое полушарие — для души, для того, что нельзя доказать. Ха-ха-ха!

Смех без причины.

В такие минуты он раздражал больше всего — ничего смешного он не сказал, однако смеялся и оглядывал слушателей, приглашая посмеяться вместе с ним. И, увидев, что они не смеются, а только снисходительно слушают, сменил тему, словно пожалев их.

— Кем ты будешь, когда вырастешь?

— Дядя Мартин, я уже вырос, но еще не знаю, кем буду! — прокричал Амос. — Это мучитель-

ный вопрос.

— Учителем? Ты будешь учителем? Вот что он решил? Очень хорошо.

— Я говорю, не решил пока.

— Мы все небогатые. А кто богатый? Если у нас стало на несколько шиллингов больше, разве мы стали богатыми? Он думает, я богатый. Я приехал на несколько дней к родственникам — значит, я богатый? Дети дали мне несколько фунтов, чтобы я мог приехать на праздник. Ха! Ха! Богач!

Он смеялся, глядя на племянницу, мать молодого человека, а та улыбалась в ответ и вспоминала молодость — двоюродных братьев, его сыновей, огромных ребят с огромной энергией, и как их, вырвавшихся из дома, затянуло приволье лондонской улицы. Такого цветения, таких родительских радостей и страхов, как в то время, ее сыну уже не изведать. А теми, кто сохранился сам и сохранил любовь своих детей, как дядя Мартин, — ими надо только восхищаться и все им прощать. Да и сколько ему жить осталось?

Однако истину о левом и правом полушариях необходимо было высказать. Старик, помня, что будет гостить у той родни, которая считалась в семье более «мозговитой», усердно готовил эту теорию о мозге. Он представлял себе, как

дождется подходящей минуты, а потом удивит компанию, не важно в каком составе, своим открытием. То есть открытие, конечно, было не его, он просто слышал, как коснулись этой темы однажды вечером, когда он задремывал перед телевизором. Теория подсознательно и не полностью осела в его памяти. В одно мгновение идея отпечаталась в его сознании, была понята, и принята, и растворилась в нем, когда сам он растворился в сне. Проснувшись, он уже не помнил ее, а теперь не помнил, что когда-то с ней встретился. Для него это была собственная мысль, счастливо родившаяся, когда он паковал свою одежду и настраивался на праздничный визит. Он был в восторге оттого, что едет так вооруженным в Лондон, в цитадель знаний. Но что же пошло не так? Не вовремя выступил? Неправильно выразился? Нескладно, как всегда? Он был раздосадован. Университетский умник никак не отреагировал. Видно, не такое уж вдохновенное открытие, как он думал.

II

Тем не менее праздника никто не отменял. И ничто не могло притушить его удовольствия.

Разочарование от неудачи забылось, когда сестра Сара стала таскать его по своим любимым местам «на Западе»[32]. «Запад»! Это волшебное место прогулок и обедов, элегантных чаепитий и публики. Два места особенно привлекали ее и ее друзей: отель «Риджент-Палас» на Пикадилли и «Корнер-Хаус» у Мраморной арки, два последних больших ресторана, с их эдвардианской плюшевой пышностью, куда ходили жители Ист-Энда, чтобы час-другой недорого пожить на широкую ногу. Но увы! Красного бархата, венгерских оркестров и прежней роскоши не осталось — большие дома поделены на отдельные заведения с атмосферой организованности, но совсем не экзотичной. Скромному и радостному благоговению людей, ощущавших пребывание здесь как привилегию, пришло на смену скучающее самодовольство тех, кого научили, что мир принадлежит им по праву. Не должно было так случиться, и маленькая женщина, его сестра, закоренелая левачка, как ни парадоксально, сожалела об этой перемене; старик же, провинциал, все равно был доволен, вспоминая прежние дни.

---

[32] Примечания: 32

Имеется в виду западная часть Лондона, более фешенебельная — Вест-Энд. (Восточная часть — Ист-Энд — рабочий, промышленный и портовый район.)

В половине пятого Мартин и его проводница пришли в секцию самообслуживания, туда, где за двумя столами старики и старухи приветствовали их с шумной радостью людей, благодарных за то, что они сегодня еще живы. Старик ходил между незнакомыми женщинами и целовал каждую с чрезмерно бодрым «Здравствуй, дорогая», как будто все еще был коммивояжером, а они — замотанными, нерешительными домохозяйками, вяло открывавшими дверь его дешевым товарам. Сестра его сидела, устало и терпеливо улыбаясь подругам, и надеялась, что они поймут; а он, к недовольству другого старика, которого явно презрел, лавировал между стульями с твердым намерением не упустить ни одного поцелуя и возможности опьяниться всеми разнообразными духами.

— Глупый человек, — пробормотала его сестра.

— У тебя хорошие друзья, — сказал он ей, а потом спросил, что ей взять со стойки и не надо ли еще кому-нибудь принести.

— Я пойду с тобой, — решила она.

— Не надо. Я сам.

— Ты сам! — фыркнула она, оставив пальто и перчатки подруге. — Он сам! Такой деловой. Всегда найдет себе дело. Присмотри за ними, Сис-

си, я должна ему помочь. Он думает, что он еще молодой человек. Роняет вещи, натыкается на людей… и не знаю, что еще. Ты хочешь еще чаю?

Когда все успокоились, возобновилась болтовня, и старик повернулся к женщине по имени Сисси.

— Вы приходите каждый день? Очень хорошо! Прийти в такое место и знать, что найдешь здесь друзей, — очень хорошо! Вы замужем? Ах, вы не замужем. Понимаю. Он умер. Мне горько это слышать. Желаю вам долгой жизни.

Сестра больше не могла терпеть:

— Ее муж двадцать девять лет как умер, а ты все еще желаешь ей долгой жизни? Глупый человек! Умер! Давно!

— Моя жена тоже умерла, — продолжал старик, не обращая внимания на сестру, и та сдалась, положившись на снисходительность подруги. Но она забыла, что подруга, при всей ее снисходительности, страдает собственной формой безумия, причиной которого было мучительное пребывание в польской тюрьме, куда ее посадили перед войной как коммунистку, и гибель почти всей семьи, уничтоженной в лагерях. Сисси приняла вызов старика.

— После того как мой муж умер, все и случи-

лось. Ты-то знаешь, правда, Сара?

— Что случилось? — встревожился старик, как будто о «случившемся» уже рассказали, а он упустил — иногда он понимал, как мешает приятному течению беседы его глухота.

— Все это дело тогда и началось, — сказала Сисси. — Ведь правда, Сара?

— У вас свое дело? — с уважением сказал старик.

Сисси посмотрела на него, недоумевая — то ли он насмехается над ее безумием, то ли состязается с ним.

— Он глухой, он глухой, — успокоила ее сестра старика.

— А! Он глухой. Понятно. Но к сожалению, я не могу кричать. Если буду кричать, они услышат.

— Кто вас услышит? — спросил Мартин, обводя помещение детски-бессмысленным взглядом.

— Кто меня услышит? Ха! Ты-то знаешь, кто меня услышит, правда, Сара? Они всюду. Моего мужа убило в Нормандии. В сорок четвертом. Под конец войны. Всю войну прошел — и вот! Рядовым. До конца рядовым, потому что отказался быть офицером и даже капралом. Не мог приказывать. И на его могиле в Нормандии я написала слова: «Погиб в борьбе с фашизмом».

Тогда они и начали. Свиньи! Всюду! Я тебе говорила? Вчера вечером пришла домой — ты послушай, — пришла вчера поздно и думаю: «Я их обману!» Они побывали в квартире. Я поняла, что были, потому что, когда вошла, чайник был еще горячий, они пили чай. Но тогда вечером я подумала: посмотрим! Посмотрим, кто хитрее. Я к двери не подошла и ключи вынимать не стала, а тихонько прокралась по балкону. — Она повернулась к старику, который не разобрал ни слова, возмещая это поощрительными улыбками, и громко сказала: — Я на четвертом этаже. Муниципальный дом!

Старик кивнул и улыбнулся, довольный тем, что сидит с ними, и вместе с тем показывая, что слышал, и она, уже нормальным голосом, продолжала:

— Я подкралась по балкону и постучала в дверь! Может быть, они решат, что это сосед, и они выдадут себя, если откроют, — так я подумала. Но они хитрые. Наверное, один из них выглянул в кухонное окно и увидел меня, поэтому они ушли.

— Сисси, — сказала Сара, уже привыкшая к этим параноидным выступлениям, — Сисси, куда они ушли? Ты стояла перед своей дверью, ты на четвертом этаже, куда они ушли?

— Почем я знаю, куда они ушли? — ответила подруга и разгневанно, с несокрушимой логикой добавила: — А ты мне можешь сказать, как они туда попали?

В этом риторическом выпаде звучала еврейская мелодия с двумя ее постоянными нотами, слившимися в один звук, — вопроса и недоверчивого изумления. Изумления не перед фактом, а перед тем, что кто-то может усомниться в ответе, подразумевающемся в вопросе.

Этого торжества подруге Сисси вполне хватило. Дальше она вступила в совершенно разумную, остроумную и душевную беседу со стариком о его детях. Он достал бумажник и мурлыкал, пока все вокруг ритуально ахали и охали и восхищенно мычали. Посреди показа подошла дородная, черноволосая, в прошлом красивая женщина и скромно подождала приветствий. Они последовали незамедлительно.

— Тереза! — воскликнула Сара. — Как я тебе рада. Помоги мне. Я в затруднении. Здесь мой брат Мартин. Помнишь, я говорила тебе, что он приедет на Новый год? Вот он приехал. — Она показала на него головой и, отчасти понимая смехотворность своего затруднения, мило улыбнулась и добавила: — И он глухой!

Тереза улыбнулась в ответ и пожала плечами в подтверждение того, что такое бывает.

— Он глухой, — сказала она. — Сисси слепнет, у меня пухнут ноги, а что у тебя не болит?

— Мы с вами встречались, да? — спросил Мартин, который ничего не расслышал, но все равно тянулся к Терезе, чтобы поцеловать ее, самую красивую подругу сестры.

— Мы встречались. Он прав. Лет пять назад он приезжал сюда, тоже на Новый год.

— И не только, — сказал Мартин, продолжая свою фразу и все-таки сорвав поцелуйчик, — я помню еще, что она умная. Ученая женщина! Я прав? — Он кричал особенно громко, распустив хвост перед этой пестрой, единственной представительницей богемы в компании.

— Я имею это каждый день, уже три недели, — сказала Сара.

— Честное слово! — Мартин восхищенно откинул голову и сложил руки на животе, как Будда. — Какие глаза. Вот это, я понимаю, глаза. Только простите меня, дорогая, губы вы слишком сильно накрасили. И не тем цветом. Вы не обиделись? — Он засмеялся и посмотрел на сестру, заранее зная, что встретит ее раздраженный взгляд. И от этого опять рассмеялся. — Что поде-

лаешь? — сказал он. — Я очень прямой человек. Я не хочу обидеть, но, если я должен что-то сказать, я должен это сказать. — И он вскочил, чтобы купить Терезе чай и бисквит.

Тереза снисходительно улыбнулась ему: ее живые глаза светились умом, она привыкла к тому, что мужчины увиваются около нее, делают комплименты, и не обращала на это внимания, сохраняя, впрочем, любезность. Вернувшись, старик сразу же вступил с ней в беседу, оборвав ее разговор с сестрой, которого он, конечно, не слышал, и даже не подумал о том, что может им помешать.

— Вот вы умная женщина, позвольте у вас спросить. Это верно или не верно, что у людей есть две способности — думать и чувствовать, и правое полушарие мозга заведует тем, как ты думаешь, а левое полушарие заведует тем, как ты чувствуешь?

Она дала длинный и замысловатый ответ — старик его не расслышал, да и не понял бы в любом случае. Эта женщина писала книги, издавала их за свой счет, а потом дарила друзьям и разговаривала, как они, без пауз, но медленно, с сильным славянским акцентом.

— Я попросила бы вас привести пример того, о

чем вы говорите, но примеры сами по себе ничего не доказывают, не говоря уже о том, что научных проблем не решают, — а ваша как раз научная. Пример может послужить как в пользу какого-то тезиса, так и против него, и порой привести к весьма произвольным, нелепым и даже очень опасным решениям.

Мартин был в восторге; он гордым взглядом обвел притихший кружок и показал открытой ладонью на говорившую, словно это была фантастическая игрушка, которую он завел и заставил работать так, как никому не удавалось.

— Примеры, — снисходительно продолжала она перед своим классом вечерней рабочей школы, — примеры, подобно аналогиям — а пример и есть своего рода аналогия, — не имеют логического, а тем более диалектического значения. Они ненадежны, недоказательны, шатки.

Она забыла и про друзей, и сама забылась, но голос ее был красив, притягателен, заставлял себя слушать. Все почувствовали себя умными, и вечер прошел приятно, мило.

III

Встреча с друзьями сестры пробудила в старом госте желание дальнейших встреч с прошлым. Через несколько дней он попросил отвезти его к Милли.

— Ты хочешь повидать Милли? — недоверчиво спросила сестра.

— Она еще может играть в вист? — Брат нетерпеливо передернул плечами, словно готов был тут же сразиться в карты. — Очень хорошая игра вист. Я помню, она всегда прекрасно играла.

— Ты не знаешь, что с Милли? Я тебе не говорила? Она выжила из ума. Она как младенец. Она тебя не узнает. И никогда она хорошо не играла. Каждый раз, когда она играла, это была катастрофа.

Но он настаивал, и однажды ранним вечером они взобрались на третий этаж муниципального дома около Клиссолд-парка, — но лишь после того, как он протащил сестру по маленькому зоосаду, — и навестили старую приятельницу.

— Предупреждаю тебя, — сказала она, когда они, отдуваясь, поднимались по лестнице, — будь готов. У нее были инсульты и не знаю что еще.

Прошлый раз она лежала лицом к стене и сама себе пела. А ты знаешь, какой у нее голос. Никакого голоса. Смех разбирал — ее слушать. — Саре было безразлично, слышит ее Мартин или нет. В голове ее были живы воспоминания о старой подруге. — Дети одевают ее нарядно, гуляют с ней, чтобы не залеживалась… иногда она ничего не понимает, а иногда понимает. Но нашей Милли больше нет.

Дверь открыла дочь Милли. Она сразу наклонилась и поцеловала Сару, а ее брата не узнала.

— Ты не знаешь, кто он? — Сара искренне удивилась.

— В чем дело? — засмеялся старик, относившийся к каждому событию как к шутке, чтобы оно не оказалось трагедией. — Она не знает, кто это?

— Дайте посмотреть, только я без очков. — Она внимательно посмотрела на старика и откинулась, как будто узнала его с первой секунды. — Да как же! Это дядя Мартин. Не может быть.

Старик вошел в квартиру и сразу, точно не желал терять ни минуты времени, расположился как дома и сказал:

— Так, где чай? Я не отказался бы от чашечки чая.

Потом увидел маленькую согнутую старушку у окна, которая смотрела на него с бессмысленной, недоумевающей улыбкой.

— Милли! — Он взял ее за кукольную ручку, поцеловал и немедленно вступил с ней в беседу. — Я Мартин! Мартин! Брат Сары. Помнишь? Я жил по соседству с тобой на Брик-лейн, когда ты жила на Бейкон-стрит, сразу за арками, и жил на Грей-Игл-стрит. Смешное название — Грей-Игл-стрит. У пивоварни Трумена. Помнишь пивоварню Трумена? Наши дети ходили в одну школу. У меня были Стенли, Натан, Рей и Эдит. Моя Эдит погибла. Попала под автобус. Да. — Даже тут он издал короткий смешок и украдкой взглянул на сестру — поняла ли она, почему ему пришлось засмеяться. — А у тебя были Сирил, Джек и Дебора и вот Белла. Твоего мужа звали Хенкель, а мою жену Ципора. Все ее звали Сиппи. А Сара ездила к ней и жила там во время войны. Я говорю про Первую мировую войну, когда меня призвали в армию.

Он повернулся к Белле и снова издал короткий неуверенный смешок, предчувствуя, что она ему не поверит.

— В армию! Я воевал! Правда! Я скажу тебе, ты не поверишь, но, когда мы уехали из Венгрии, кое-кто из братьев и сестер там остался. Большая

семья! У нас большая была семья. И в Первую мировую войну брата тоже призвали, только он был на другой стороне. Да! Мы воевали друг с другом! Брат мог убить брата. Что ты на это скажешь? Разве не странно? Это очень странно. И все равно…

Маленькая старушка растерянно забормотала что-то на идише, засмеялась, вслед за Мартином, от чего он встревожился, и беспомощно посмотрела на свою подругу Сару.

— Ты мне не поверил, да? — со вздохом сказала его сестра, как бы примиряясь с тем, что жизнь определила ей роль поводыря.

Вошла дочь с чаем.

— Раньше я могла угостить маму хлебным пудингом, а теперь должна обходиться готовым рулетом с джемом, хотя это гадость. Дядя Мартин, как ваши дети? Слышите меня? Дети! Все взрослые, сами, наверное, с детьми. И внуками даже!

Она разлила чай по чашкам, села и взяла мать за руку, как будто по капризу природы они поменялись ролями и младшая стала матерью старшей.

Эта картина немного огорчила его. Он пришел, чтобы предаться приятным воспоминаниям, и не готов был увидеть старую подругу в таком упадке.

Смерть? Да! Она неизбежна. Но крохотная Милли, сидя, прильнула к дочери, бессмысленно гладила ее, и смотреть на это было грустно до невыносимости. А ведь были такими друзьями! Такими близкими, что их дети считали себя родственниками и звали старших дядей и тетей. Никакого виста тут ждать не приходится, это было ясно.

— Мне очень жаль видеть маму в таком состоянии, — сказал старик. — Потерять рассудок — это ужасно.

— Такое случается, — сказала Белла.

— И лучше ей уже не станет, я думаю?

— Она не мучается, болей нет, — ответила заботливая дочь, — это единственное, что меня волнует.

— Ты весь день при ней?

— Нет, что ты! Днем за ней присматривают две женщины. Одна с утра, другая во второй половине дня. Я работаю. Иначе мы обнищаем.

— Да, я доволен чаем, — согласился старик.

— Он глухой, — объяснила его сестра.

— Честно говоря, — продолжала Белла, — если с ней весь день сидеть, тут сама с ума сойдешь.

— Ты думаешь, у нее пройдет?

— С ума сойдешь! — громче повторила Белла.

— А, она с ума сойдет?

— Нет, я. Я сойду, если с ней сидеть.

— Ах, ты. Понимаю.

Сестра глубоко вздохнула. Наконец-то куда-то вышли. Лучше, чем торчать дома и одной целый день ему кричать. Кажется, он услышал ее вздох.

— Что ж, моя дорогая. Мы должны довериться Богу, хотя пути Его трудно понять.

— Трудно, — подтвердила усталая дочь. Теперь она баюкала маму и гладила по голове — зрелище, довольно обескураживающее для независимого старика. Но он храбрился.

— Ты не обижайся, но я спрошу: по-твоему, это хорошо? Обращаться с ней как с младенцем — ты думаешь, это правильно?

— Она и есть младенец, — сказала любящая дочь, — утомительный младенец, но младенец, а, тетя Сара?

— Я хочу сказать, — не унимался прямодушный старик, — я хочу сказать, ты отпусти ее, пусть найдет себе дело, пусть работает. Нехорошо лишать человека воли. Отними у него волю, и он рассыплется. Я прав, Сара?.. Ведь прав же? Как я. Заставь мать вести себя, как я. Восемьдесят два года, а я на ходу, я туда, я сюда. Сыновья говорят: «Смотреть на тебя — и то устаешь. Честное слово. Присядь ты, папа, черт возьми, — они говорят, —

у нас голова от тебя кружится». У них от меня кружится. Ты не обижайся, но посмотри, как ты ее держишь. Как ребенка. Дети в этом нуждаются, но не взрослые, дорогая. Не старики. Старикам нужна независимость. Чтобы к ним не приставали. Гордость. Я очень гордый. Сыновья говорят, что чересчур гордый, — нехорошо быть чересчур гордым, они говорят. А я им говорю: вы идите своим путем, а я пойду своим, и увидите, даже вам будет приятней.

Тут, хотя он говорил вполне серьезно, старик опять издал странный смешок. Даже безумная Милли посмотрела на него с сомнением.

— Очень хороший чай, — слабым голосом сказал он, пытаясь переменить тему.

Все стали шумно отхлебывать, кроме старушки, которая наблюдала за ними, напрягая остатки ума, и чувствовала себя брошенной.

* * *

Мартин с сестрой спускались по лестнице муниципального дома; их старческие шаги гулко отдавались в каменной лестничной клетке.

— Эта женщина когда-то читала классиков на идише, — громким голосом глухого начал Мартин.

— Ш-ш, — предостерегла его сестра. — Тише говори.

— Эта женщина когда-то могла составить целую фразу, — продолжал он.

— Не кричи! — крикнула сестра.

— Я кричу! Я кричу! — сердито, с вызовом крикнул он. — Эта женщина кормила и обстирывала детей, играла с нами в карты и вела большие политические споры!

В гневе он зашагал быстрее, переваливаясь с боку на бок. Ей стало трудно поспевать за ним.

— Ничего в этом не смыслила, но вела большие политические споры!

Сара посмотрела на брата. Он плакал.

— Эта женщина могла пригласить тебя в гости, и ты чувствовал себя желанным, чувствовал себя человеком! — Он кричал как будто прохожим. — Это неправильно, что с ней такое сделалось.

Оплакивал он Мартина.

— Какая была женщина!

Для такой беды рождается человек.

IV

Молодой человек, в чьих невеселых серых глазах отражались радости и горести его души,

можно сказать, переживал кризис. Двадцать три года — возраст, готовый для кризиса, особенно если твои родители и времена не в ладу. И ты не в ладу со временем. И дисгармония отзывается в душе. Бедный молодой человек! Он жаждал действовать в динамичном мире промышленности и техники, разъезжать по земному шару с твердым сознанием ценности своей продукции, продавать ее, объяснять ее возможности, урезая прибыль до пугающего минимума в надежде на огромный, все окупающий заказ. Какой же это был бы восторг! Привести в согласие множество разнородных факторов, человеческих и механических, и торговать. Торговать! Как же он хотел в мир бизнеса! Страницы «Файненшл тайме» вдохновляли его, экономические приложения газет опьяняли его, «Экономист» внушал благоговение. По крайней мере, это благоговение рождалось в одной части души.

А другая? Другая часть, сформировавшаяся под влиянием родителей? Ах! Она была подточена совестью. И даже не новой совестью, свежей, жесткой, рациональной совестью. Нет! Он унаследовал старую, заношенную. Она выработала свой ресурс на проблемах, которые для него уже ничего не значили, таких, как гражданская вой-

на в Испании, ядерное разоружение, смертная казнь, погоня за прибылью. Погоня за прибылью! А что неправильного в погоне за прибылью, черт побери? А самих-то родителей что побуждало к труду, кроме денег? Что? В этом сложном мире, где у больших человеческих сообществ стремление к прибыли четыре тысячи лет въедалось в плоть и кровь. Что, если не это? У них самих в крови! Что за вздор! Деньги такая же составная жизни, как секс и сон, они глубоко внедрены в сознание. Какого черта по милости родителей он должен совеститься из-за денег?

Но совестился — это было как генетическая болезнь. И ничего не мог с этим сделать. Это лишало его энергии, необходимой для завоевания богатства, которого он страстно желал, богатства, которое позволит ему выстроить цитадель комфорта, — а стремление к нему, он сознавал это, было такой же неотъемлемой чертой его характера, как противоположное ощущение тщетности такого благополучия. Будь проклята эта сторона души, унаследованная от родителей, с их еврейской мягкотелостью. Будь проклята их отзывчивость! И будь проклята их любовь к музыке и литературе и их нелепая вера в то, что без них человек не вполне человек, — ежели эта

их любовь умеряла алчность, которую воспламеняли страницы экономических приложений. Отчего они не могли понять одну простую вещь: если бы ему не мешали еще немного раздуть в себе это пламя, он смог бы скупить столько искусства, сколько захотел. Ведь оно же товар? Есть рынки искусства? Оно покупается?

По правде говоря, вина была не только родителей. Эта часть его души, подточенная совестью, как ни странно, производила особую энергию, излучение которой привлекало особую породу девушек. Хотя они появлялись и исчезали, быстро и без осложнений, у всех была одна общая черта — ум, не стеснявшийся заявить о себе и на равных состязавшийся с его умом. Они были образованны, вооружены знаниями, видели насквозь его софистику и сами при надобности не брезговали такими же уловками. Только в одном отношении они от него отличались — впрочем, поскольку он всякий раз влюблялся в одну и ту же девушку, это и отличием не было: их укрепляла эта самая, будь она неладна, мягкотелая и глупая мораль его родителей, и, когда он вынуждал их дать ей определение, ему отвечали: просто гуманистическая.

— Господи! Вон что! Да кого в наши дни нельзя назвать гуманистом? И что это вообще значит?

Я что, предлагаю покончить со здравоохранением? Снова сократить обязательное обучение до четырнадцати лет? Отправить детей в шахты? А стариков — в богадельни? Я спрашиваю, что за ерунда насчет гуманизма? Определи свои термины!

Он выступал как персонаж нового голливудского фильма, о котором в рекламе пишут: «Наконец-то подлинно интеллигентная картина для мыслящего зрителя». Он обладал интеллектуальной энергией, если не основательностью, и его напористые американские интонации, конечно, подкупали.

— Это значит, — отвечали ему в той или иной форме, — что если встанет выбор между благополучием института, каковым можно считать любую разработанную идеологию, и потребностями отдельного человека, то гуманист выберет счастье человека.

— Сентиментальная чепуха! — резал он. — Ничего не значит. Пустозвонство. Примеры — дайте мне пример ситуации такого выбора, которая возникает чаще чем раз в жизни.

И ему приводили приблизительно один и тот же список: производительность за счет досуга, спекуляция недвижимостью за счет бездомных,

избыточность под лозунгом реорганизации, заключение без суда во имя порядка, цензура во избежание волнений, безработица для обуздания инфляции, безадресные убийства для достижения политических целей, избиения невиновных, «сопровождающие» любую революцию — будь то во имя национальной независимости, равенства, чего угодно… Тогда Амос анализировал их список и доказывал, что реорганизация целесообразна, революционные жертвы неизбежны, а заключение без суда действительно способствует порядку. Спорили все выходные дни напролет, и симпатичные молодые женщины приходили, любили его, вздыхали и уходили. Кроме одной — она осталась, потому что не поверила ему!

Это была высокая девушка по имени Миранда. Не еврейка. Дочь фармацевта, не богача, но с хорошим доходом от патента на микстуру от кашля, которая гарантировала если не излечение, то облегчение бронхита у пожилых. И честно обещанное выполняла, что подтверждали жители севера Англии в районе Манчестера, где жила семья.

Отец был человек немногословный, и Миранда унаследовала его молчаливость, частично утраченную за годы учебы в Килском университете,

но все же достаточно сохранившуюся, чтобы внушать уважение молодому человеку и умерять его апломб. Даже физически они составляли интересную пару. Если другие его девушки, в той или иной степени миловидные, были меньше, толще, темнее или худее его, то Миранда была его роста — почти метр восемьдесят, стройная, как он, тоже темноволосая, тоже близорукая и нуждалась в контактных линзах. Но тогда как его глаза бегали, а тело порывисто двигалось во время объяснений, она сидела, спокойно откинувшись на спинку, и ее взгляд останавливался выборочно на двух-трех местах. Она производила впечатление молодой женщины, которой осталось совсем немного, чтобы обрести свое место. Амос же в какое-то место пытался себя затолкать, втиснуть свою жизнь в порядок.

Те полгода, что они были знакомы, он работал в адвокатской конторе, работал толково и четко, вел флирт с законом, выясняя, не здесь ли лежат его таланты. Миранда была его клиенткой в пустячном деле: с целью экономии она выписала партию колготок в посылочной фирме, а фирма их не прислала и, как выяснилось, была банкротом.

— Позволь подарить тебе пару колготок, — го-

ворил он. — Скажем, в пятницу, в восемь — я знаю один греческий ресторанчик за магазином игрушек Хэмли. Там танцуют.

Это были его самые счастливые полгода. Они ходили в дискотеки, где он танцевал энергично, но плохо, и она пыталась его обучить. Он показал ей Оксфорд и свои любимые пабы, но категорически отказался посмотреть Килский университет.

— Есть только два университета, заслуживающих внимания, как бы чудесны ни были другие рассадники учености.

Но в Скалистый край[33] она его все-таки заманила и познакомила с отцом, который вел себя так, как будто впервые в жизни встретился с евреем. Мать ее умерла.

Во время этого визита он остро ощутил, насколько плохо он знает Англию, и они решили, что проведут летний отпуск, разъезжая по стране. Это была идиллия. Они спорили о политике и литературе, и он постоянно требовал, чтобы она определила свои термины; она возражала, что у слов всегда должны быть точные значения. Иногда они отставляли главную тему спора и часами искали нужное слово.

---

[33] Примечания: 33

Скалистый край — холмистый район и национальный парк в Центральной Англии.

Одна дискуссия началась на вершине горы Шугар-Лоуф в Уэльсе, и там в сапожной мастерской в Абергавенни она уговорила его сменить стоптанные мокасины на традиционные «пастушеские» полуботинки и объяснила, что на колодках дорогая обувь сохраняется лучше и в итоге обходится дешевле! У озера Дервент-Уотер в Камберленде их спор продолжался. На месте побоища в Гленкоу[34] она продемонстрировала ему суровую силу поэзии, прочтя наизусть «Сожалею о сказанном сгоряча» Йейтса. «Я распинался пред толпой, пред чернью…»[35] — распиналась она перед ним и широким зеленым лугом и купила ему галстук; а доводы в пользу присоединения к Европе он изложил ей на северо-западном конце Адрианова вала. В бутике около замка Карлайла она заставила его выбросить дырявый джемпер и купить новый, цвета охры; потом, в самом замке, отстаивала национализацию банков; в Даремском соборе он отрицал существование

[34] Примечания: 34

В долине Гленкоу (Шотландия) в 1692 г. тридцать семь членов клана Макдональд были убиты правительственными войсками под предлогом того, что они не принесли вовремя присягу королю Вильгельму Оранскому и остались сторонниками свергнутого Якова II. Сорок детей и женщин погибли от холода после того, как были сожжены их дома. Существенную роль в этом событии сыграла межклановая рознь.

[35] Примечания: 35

Перевод Г. Кружкова.

Бога. После чего была куплена простая белая рубашка, взамен клетчатой, которую он любил, а дед презирал. Когда они приехали к дому Бронте в Хауарте, она решила, что беременна; однако в Йорке выяснилось, что нет, и успокоенный Амос рассказал ей о том, как евреи Йорка в осажденном замке совершили коллективное самоубийство, повторив в 1190 году историю Масады[36].

— Ха! Я обожаю такие выверты судьбы, — продолжал он, когда они смотрели на массивные стены Йорка. — Одним из людей, угодивших в эту историю, был раввин Йом Тов из Жуаньи — из Франции! Вовсе не из Йорка! Он приехал руководить талмудической академией под патронажем богатого йоркца, раввина Иосифа. В те дни бизнесмены были учеными людьми — тебе и моим родителям жилось бы прелестно, и моя жизнь была бы проще — то есть если бы я сумел увильнуть от резни. Ни один еврей не мог быть

---

[36] Примечания: 36

Масада — крепость у Мертвого моря, ставшая последним оплотом повстанцев во время антиримского восстания 66–73 гг. После долгой осады, когда римляне проломили стену, защитники крепости убили жен и детей и покончили с собой, чтобы не стать пленниками. Спасаясь от погрома, евреи Йорка укрывались в центральной башне замка. Когда возможности сопротивления были исчерпаны, Йом Тов убедил их покончить с собой — сдача означала пытки или крещение. Реальной причиной погрома было то, что крестоносцы влезли в долги и не хотели расплачиваться с евреями.

уверен, что любая его поездка закончится благополучно, по какому бы делу ни ехал. Что не нарвется на погром, не услышит крики о ритуальном убийстве, понимаешь? Опасные времена. А почему мне особенно нравится старина Йом Тов — помимо того что он был эрудитом, он был остроумен, прекрасное сочетание, и, когда писал по вопросу о том, можно ли пользоваться печкой в субботу, заключил так: «Да разделю я участь тех, кто в тепле, а не тех, кто строго соблюдает правила!»

К тому времени, когда они прибыли в Кембридж, оба были так утомлены, что ознакомились с этим городом, наверное, подробнее, чем с предыдущими, и ей удалось освободить его от плохо сидевших полосатых брюк и не подходившего к ним пиджака в елочку и одеть в простой, но элегантный серый костюм в тон его серым глазам и выгодно подчеркивавший его рост. Приехав в Лондон, Амос подумал с некоторой досадой, что не только избавлен от неряшливости, которая, на его взгляд, добавляла ему очарования, но, кажется, и впервые полюбил; Миранда же, к своему удивлению, обнаружила, что не может оставаться одна. В первый вечер после приезда она чуть не кричала, что с ней случалось редко, и вынуждена

была вызвать Амоса, чтобы он провел у нее ночь, пока она снова привыкает к своим комнатам.

— Ты должен уходить от меня постепенно, — настаивала она по телефону, — или совсем не уходить. — И ждала его ответа.

Он слышал по проводу ее лукавую улыбку.

— Перестань предлагать мне руку, — сказал он, когда она открыла ему дверь. — Я слишком молод, чтобы жениться, слишком хочу разбогатеть и прекрасно понимаю, что ты чувствуешь, потому что ощущаю точно такие симптомы лишения, но мы уже почти взрослые, а потому должны овладеть собой, вернуться к нашим папам и мамам и работать дальше ради нашего будущего.

— Ты смешон, — сказала она, накладывая ему приготовленный на скорую руку селедочный паштет. — «Овладеть собой и вернуться к папам и мамам»! Это — логическое противоречие.

— Ты прекрасно меня понимаешь. И, кроме того… — продолжал он, когда за паштетом последовал толстый бифштекс, щедро нашпигованный чесноком, — никакое внимание к моему желудку не соблазнит меня остаться на ночь. — Он жевал быстро и энергично, но не без признательности.

— Перестань. — Она вздохнула. — Мы отлично знаем, что ты суров и абсолютно независим.

— Угу… Вовсе не так суров, если ты напрашиваешься на комплименты, — ответил он. — А что до независимости, то у нас у всех ее ни капли. К сожалению!

— Это зависит от того, что понимать под независимостью, — возразила она, закуривая сигарету, вместо того чтобы присоединиться к трапезе.

— Независимость, — отвечал он, надевая плащ, купленный по ее настоянию в Йорке, — независимость это независимость. Именно то, что это слово означает. Независимость ни от кого и ни от чего. Вполне недвусмысленное слово и абсолютно недостижимое состояние. Но уже поздно заниматься семантическими тонкостями, и я слишком устал, чтобы продолжать твое образование. По крайней мере, сегодня. — Он поцеловал ее в дверях. — И не забудь про эти затвердения. Сходи в больницу. Сделай биопсию. Я не верю в бабушкины сказки насчет менструальных желваков. Опухоль есть опухоль есть опухоль. Я обследовался полностью. Сегодня век превентивной медицины, а не целителей.

Он согласился с ней, что месяц они не должны видеться и перезваниваться.

V

Амос вернулся в свою комнату в доме родителей и к привычному оптимистическому рысканию по колонкам газетных объявлений о работе. Как же быстро становятся неблагодарными и безрадостными некоторые поиски: поиски квартиры, поиски дома, поиски супруга, поиски работы. В каких местах тебе предлагают жить! Какой работой заниматься! Сколько на свете гнусных углов и жалких занятий! Какая алчность проглядывает в квартплате, как не чувствуют люди своих раздутых эго, стелющихся, словно темный туман, над письменным столом во время собеседования при найме. Для молодых, для университетских выпускников времена были все такие же неприветливые, как раньше.

Но в один прекрасный день совершилось чудо. Амос нашел работу. Нашел не на газетной странице, а — кто бы мог подумать! — благодаря знакомству. Американский клиент, подавший в суд на лондонскую фирму по производству аккумуляторов, громко сетовал на состояние британской промышленности.

— Не знаю, что у вас будет со страной, потому

что у вас проблема. Ба-альшая проблема. — Он стоял в дверях, прощаясь с начальником Амоса. — Ваши рабочие не работают, у ваших менеджеров скудное воображение, ваши чиновники бестолковы. Я не мог себе такого представить. Ведь эта страна к началу века построила девяносто восемь процентов железных дорог на земле. Что же случилось? Что испортилось? Ладно, вы потеряли империю…

— Распустили, — поправил начальник Амоса, пожилой фабианец[37] раннего призыва.

— Распустили, потеряли, у вас ее отняли — не важно! Ее не стало. Наверное, это был тяжелый удар, утрата. Наверное, удар по вашей гордости. Сочувствую. Но Индия получила независимость в сорок седьмом году или около того. Четверть века прошло, ей-богу! Германия оправилась. Япония оправилась. Даже в Испании шахтеры зарабатывают больше ваших. Вы знаете, что делают у вас рабочие на аккумуляторной фабрике? Работают по субботам и воскресеньям, чтобы выработать полторы ставки и получить двойные сверхуроч-

[37] Примечания: 37

Фабианское общество (основано в 1884 г.) выступает за постепенное реформирование общественной системы в социалистическом направлении. Входит в Лейбористскую партию на правах коллективного члена.

ные, а в понедельник и вторник не выходят!

Амос сардонически рассмеялся. Американец кивнул.

— Да, смешно. Не спорю. Очень ловко. Очень хитроумно. Должно быть, страшно довольны собой. Веселятся до упаду, когда получают свои конверты с жалованьем. Кивают, подмигивают, толкают друг друга в бок. На здоровье. Но не за мой счет, дорогие. Раз ты такой ловкий и смекалистый, пускай твоя ловкость и сметка работают на твой карман. Даст Бог, и стране заодно поможете. Но своими мелкими махинациями откусывать от моего капитала, заработанного горбом, — ни-ни. Мне хватает головной боли с проклятыми бюрократами, с интригами нефтяников и автостроителей — не хватало еще, чтобы муравьи от меня отщипывали. Да, я очень зол, джентльмены. Я жесткий человек, но я не плохой человек — только терпение мое не беспредельно. Вы же меня изумляете. Ваше британское терпение, кажется, не знает границ. Я не понимаю.

Мягкий фабианец попытался объяснить, не смог и вовлек в разговор Амоса.

— Англичане, — сказал Амос, несмотря на свое образование сохранивший вкус к обобщениям, подходящим его резкой иронической манере, —

англичане относятся к своей политике серьезно. Нет! Нет! Не сомневайтесь! Уверяю вас! Вопреки видимости. Им сказали, что их дом — их крепость, и они, черт возьми, уверовали в это — пусть их дом непригодная для жизни руина или антисанитарная дыра. А почему бы и нет, в сущности…

— Почему бы и нет! Чушь! — взорвался американец, и Амос вздрогнул, сообразив, как должны звучать в ушах американца его самодовольные разглагольствования. — Чушь! Дыра и есть дыра!

Поклявшись себе больше никогда не говорить в таком тоне, Амос продолжал:

— Кроме того, им сказали, что все люди равны, поэтому они говорят друг другу: спокойно, не дергайся, живем только раз, погляди на бригадира, а он отворачивается, потому что тоже знает: живем только раз, все люди равны — так оно и идет.

Американец смотрел на непоседливого молодого человека с подозрением. Британский юмор всегда был для него загадкой. Как может народ так шутить с жизнью и смертью? Но этот непоседливый молодой человек ему запомнился.

Амос, со своей стороны, заинтересовался его делом. Феликс Домбровски из Чикаго был так же уверен в одном аспекте будущего, как старинные прорицатели, — бензиновый мотор уходит из

города, приходит электромобиль. Иначе быть не может. Перенаселенность, загрязнение воздуха, растущие цены на нефть, неизбежное сокращение ее добычи — все эти факторы, по мнению мистера Домбровски, неопровержимо свидетельствовали о том, что будущее за автомобилем на аккумуляторах. Ввиду этого он открыл небольшой, но развивающийся завод по производству маленьких автомобилей и заключил контракт с английской фирмой на поставку батарей. Обычная история. Фирма предложила ему привлекательную низкую цену за свои изделия, как и многим другим заказчикам, и все бы хорошо, но начались трудовые конфликты. За последний год они возникали трижды, а в бюджете фирмы такие убытки не были предусмотрены, и она обанкротилась. Мистер Домбровски приехал, чтобы выручить то, что еще можно было вернуть, и собирался отбыть через пять дней.

Все произошло очень быстро. Во время его следующего визита в юридическую фирму Амос спросил американца, не нужен ли ему находчивый молодой человек с оксфордской степенью по философии, политике и экономике.

— Без отличия, но мой потенциал беспределен.

И американец, у которого сложилось об Амосе

благоприятное впечатление, задал ему кое-какие вопросы, пригласил его на обед, задал еще вопросы и предложил двадцать тысяч долларов в год, должность личного помощника, находиться в его распоряжении двадцать четыре часа в сутки с перспективой роста до сорока тысяч по истечении трех лет. Приступать может сразу. Нужен не позже чем через две недели. На размышления — три дня.

Амос побежал сообщить Миранде. У Миранды тоже была для него новость. У нее нашли рак. Она послушалась его совета, поехала домой, в Манчестер, и прошла обследование. Затвердение в груди оказалось злокачественным. В течение месяца ей должны отрезать грудь.

Амос пошатнулся. Это был физический удар. Только в двух случаях он испытал подобное физическое потрясение. Он подумал о них, слушая Миранду, и почувствовал, что сейчас переживает то же самое. И тут же стал рассказывать о них. Ни словом не обмолвившись о нависшей над ней беде, он тяжело опустился на ее пестрый диван и стал рассказывать, как рассказывают сказку ребенку:

— Когда я был в Штатах, я поездил повсюду. Это огромная страна. До нелепости огромная. И

я катался по ней, как перекати-поле. Смотрел налево, смотрел направо, но большей частью думал только о том, чтобы попасть из одного места в другое, далекое.

Миранда, вытянувшись на диване и положив голову ему на колени, обнимала его за талию, плакала и слушала.

— И, как ты знаешь, я действительно ездил с места на место. Из многих мест во многие другие. Это было дико и чудесно, и я дивился бескрайним пустыням, кактусовым пустыням Аризоны, цветным пустыням Нью-Мексико. Красоте Сан-Франциско с его Золотыми воротами, странному Солт-Лейк-Сити, с его вульгарной мормонской церковью. Но ничто не поразило меня так, как Большой каньон, когда я охнул, словно от сильного удара в грудь. Ты совершенно к этому не подготовлен. Ни фотографиями, ни широкоэкранными фильмами. Ничем! Ты выходишь из машины, перед тобой стена, цепь людей, на что-то смотрящих. На что? Никакого намека — ни звука, ни шевеления. Ты идешь туда, и вдруг — вот он! Огромное, глубокое каменное ущелье тянется сколько хватает глаз, и ты только вертишь головой, чтобы охватить его взглядом, со всеми его извилистыми притоками, разноцвет-

ными пластами породы, скалами-скульптурами, его отвесными гранитными склонами. Это было физическое ощущение. Я даже попятился. И может быть, даже поднял руки, чтобы отвести удар. Так мне помнится. Подобное случилось со мной только раз до этого.

Миранда беспомощно всхлипывала и втягивала слезы носом, стараясь делать это как можно тише. Амос вынул платок, устроился с ней посвободнее — трудная задача для тела, которое может быть поднято по тревоге в любой час суток, — вытер ей слезы и продолжал:

— А первый раз, когда я был мальчиком — ну… лет, наверное, семи. И помню все очень живо. Меня послали в магазин. Надо было дойти до конца нашей улицы на главную дорогу, там повернуть налево и пройти еще несколько сот метров. Недалеко. Простое дело. Я побежал по нашей улице, помню, весело, может, даже вприпрыжку, и перед тем как повернуть, посмотрел направо — знаешь, по привычке, — и там, на правой стороне нашей улицы, где она выходила на главную дорогу, на углу, около грузовика стояла кучка людей. Они смотрели на внешнее колесо грузовика — под ним лежал и корчился маленький мальчик — его нога была прижата колесом. Не знаю, теперь мне

кажется, что там вряд ли было что-то более серьезное, чем перелом или ушибы. Похоже было, что водитель и мальчик вовремя увидели друг друга, смертельного исхода удалось избежать. И произошло это, наверное, только что. За несколько секунд до того, как я вышел на угол. За эти несколько секунд водитель должен был понять, что произошло и что ему надо сделать — сдать назад. Но я застал как раз момент нерешительности: водитель в ужасе, любопытные прохожие и мальчик корчится под колесом. Такая картина. И тоже я ощутил физический удар. Только в этот раз к нему примешивалось ощущение, как будто я стал свидетелем очень интимной сцены и должен отвернуться. Что я и сделал. Ясно помню: я увидел их, повернулся, пошел обратно к дому, сделал несколько шагов, снова повернулся, пошел к магазину, сделал несколько шагов в ту сторону, снова повернулся и пошел к дому, а потом совсем остановился. Замер. Лишился сил. Ноги отказались идти. Мне еще не приходилось справляться с такими переживаниями.

Она перестала плакать. Они долго молчали и не шевелились. Прошел почти час; в комнате стемнело; Миранда поднялась, включила лампу в соседней комнате, чтобы не сидеть под рез-

ким светом, налила ему и себе по бокалу вина и сказала:

— Они могли ошибиться.

— Не смеши меня, — отозвался он с намеренной резкостью. — Специалисты не ошибаются. Успокаивает то, что они не сочли тебя безнадежной, не сказали, что он распространился.

— Они ничего не сказали — только то, что я почти наверняка лишусь груди. — И она опять заплакала.

— Но это не значит, — сказал он очень громко, заглушив ее плач, — что ты умрешь от рака.

— Амос! — запротестовала она, задетая его резкостью. — Я не техническая проблема, которую надо решить, и не юридический казус, который надо распутать. Не говори со мной так враждебно. Я знаю, что ты не злой, но прямота не всегда помогает. Иногда она обижает, ранит. Не будь грубияном. Прошу тебя.

— Но это не отменяет сказанного, — продолжал он, хотя уже мягче. — Женщин убеждают обследоваться пораньше, тогда в большинстве случаев его можно остановить. Поэтому и я тебя уговаривал. Тебя еще не оперировали, а когда прооперируют, я почти уверен, выяснят, что захватили вовремя. Ты молодая, нет никаких

оснований…

— Но мне отрежут грудь!

Амос сник.

— Я понимаю, — только и мог он вымолвить.

И они опять надолго замолчали.

К огорчению из-за Миранды прибавилась и отчасти заслонила его другая мучительная проблема. Миранда отлично понимала ее, и чем дольше они не решались заговорить о ней, тем тревожнее становилось Миранде. В конце концов, молчание и мысли о том, какую внутреннюю борьбу он переживает, стали невыносимы. Она начала издалека:

— Знаешь, ты не прав насчет страны.

— Не прав?

— По-моему, никто еще не почувствовал, что происходит на самом деле. — Амос не ответил. Дыхание ее немного успокоилось, и она продолжала: — Это уже не «бедная старая Англия», а «Англия воспрявшая». Поверить трудно, я знаю — знаю, что забастовки, что неуемная алчность, но это только там и сям. — Она встала, чтобы наполнить бокалы. — Ты жалуешься, что рабочие не выкладываются, а подумал ли ты о том, что недовольные спекулянты не желают вкладывать в реальное производство?

В другое время он ответил бы. Но сейчас стиснул зубы и спрятал правую руку в карман, показывая, что спокоен. Однако его выдавала левая, ритмически постукивавшая по колоде карт. Миранда сделала вид, что он ждет продолжения.

— Да, есть и злонамеренность, она всегда будет, но, понимаешь, наконец-то дошел до людей простейший марксистский урок: что капитал рабочего — его труд. Да! Он тоже владеет капиталом, который можно инвестировать. Понимаешь, работать — это одно, это он использует свой труд, но труд — особая сущность, и рабочий хочет, чтобы он приносил прибыль. Что еще у рабочего есть? Больше ничего. И он только теперь осознал это. По-моему, это замечательно. Произошла решительная перемена. И с этим надо сжиться.

Он упорно не хотел отвечать и беспрерывно постукивал пальцами по колоде. Стремясь убедить его, она вкладывала в свои рассуждения столько чувства, что они как будто поменялись ролями: казалось, это она утешает его в преддверии мрачной трагедии.

— И вот что еще. Смотри: ценность человека. Сколько стоит человек? Как оценить его труд? Не пора ли кому-нибудь заняться этой проблемой?

На этот раз он все же ответил ей — коротким

уничтожающим взглядом.

— Ее нельзя игнорировать, Амос; рано или поздно ее должны будут осознать и управляющие, и рабочие. Что имеет большую ценность: семь лет, потраченных на изучение архитектуры, или постоянная угроза здоровью, подстерегающая рабочих в химической промышленности, не важно, квалифицированных или нет? Рано или поздно такие вопросы придется решить. Понадобится новый подход, иного рода менеджмент. Ты не думаешь?

Он думал — но по-прежнему молчал. В отчаянной попытке удержать его при себе или хотя бы удержать от отъезда она рискнула высказать еще одну мысль. Своего рода итог.

— Само понятие прибыли под вопросом!

Ей было стыдно, что она так неудачно выразила свою мысль. Чего еще можно ожидать при таком стрессе? Но он молчал, и в этом читалось презрение к ее доводам. И опять наступила долгая пауза. Потом, не ожидая хорошего, она спросила:

— Может быть, мистер Домбровски подождет несколько месяцев?

— А может быть, не подождет!

— Пожалуйста, не рявкай. Пожалуйста.

— У меня дилемма. Такая, о какой я меньше

всего мечтал. Позволь мне рявкать.

— А мне что делать, Амос?

VI

И надо же, чтобы в эти дни печали и нерешительности, когда молодой человек сидел в меланхолическом раздумье, когда ему необходим был покой, чтобы собраться с мыслями, — надо же, чтобы из прошлого его родителей возник этот старик, двоюродный дед с подагрическими пальцами, этот «дядя Мартин», с такими же, как у него, глазами, глухой и являвший собой картину старческого распада, которого сам страшился и при этом презирал, — надо же, чтобы именно теперь старик вторгся в их жизнь.

Как-то в конце дня бабушка с братом пришли к ним, чтобы убить время, и старик проследовал за молодым в ванную. Дед понаблюдал за ним, странно, по-боксерски поднимая и опуская плечо, что выражало его готовность ко всему, но при этом одышливо кряхтя, как кряхтят старики, от которых даже тик требует чрезмерных усилий, — и спросил:

— Что это?

— Зубная щетка, дядя.

— Зубная щетка? Жужжит, как бритва.

— Это электрическая зубная щетка.

— Электрическая зубная щетка? А она нужна — электрическая зубная щетка?

— Электрическая зубная щетка, дядя Мартин, чистит сверху вниз. Она правильно чистит.

— Когда у меня были зубы, я тоже чистил сверху вниз.

— Эта чистит сверху вниз быстрее.

— Я быстро чистил. Когда я был моложе, я очень быстро чистил.

— За минуту она совершает столько движений, сколько рука за двадцать пять минут.

— А двадцать пять минут надо чистить зубы?

Этот диалог рассердил Амоса еще и потому, что старик расслышал каждое слово.

— Очень старых, таких, как он, — буркнул он родителям, — надо держать подальше от молодых, вроде меня. Это не здорово. Для нас обоих.

В другой раз старик завел странный катехизис:

— Ты образованный. Очень хорошо! Хорошо быть образованным. Ты много читаешь?

— Я много читаю, дядя.

— Ты много читаешь. Очень хорошо! Ты знаешь много слов и что они значат?

— Я знаю большинство слов из области фи-

нансов и политики, которые полагается знать образованному молодому человеку. — Амос слегка смутился, почувствовав, что ответ звучит напыщенно.

— И знаешь смысл большинства слов. Очень хорошо. Тогда… — театральная пауза, — ты думаешь, я могу назвать тебе такое слово, что ты не знаешь его смысла?

— Я думаю, это мало вероятно, дядя. — Молодой человек ответил осторожно, желая сгладить впечатление от своей напыщенной реплики. — Но не буду категорически утверждать.

— Не будешь что? — спросил старик, внезапно решив снова сделаться глухим.

— Утверждать категорически! — выкрикнул молодой человек.

— Знаю ли я по-гречески? — Старик засмеялся над этим нелепым предположением.

— Я говорю, — крикнул Амос еще громче, чтобы старик не подумал, будто он застеснялся своей напыщенности, хотя теперь заподозрил, что хитрый старик как раз этого и добивается, — говорю, что не могу утверждать категорически.

— Ах, категорически? Категорически. Очень хорошо. Хорошо, что не категорически… Тогда вот что мне скажи: как в словаре объясняется

«еврей».

Старик был в восторге от того, что его вопрос привел молодого в замешательство: Амос заморгал и всерьез усомнился, что сам теперь правильно расслышал.

— Еврей?

— Еврей. В словаре. Что там сказано?

— Ну как, дядя Мартин, евреем будет называться человек, происходящий из племени Иуды, впервые появившийся тогда-то и там-то, и, несомненно, будет сказано о его связи с Библией, и…

— Еврей, — авторитетно, звучным голосом перебил его старик, — это жадный и бессовестный ростовщик. Торговец, который хитро ведет дела, выжига. Так сказано в словаре.

— Дядя Мартин! — Внучатый племянник заговорил с ним как с упрямым ребенком. — У нас тысяча девятьсот семьдесят третий год. Ни один словарь на свете — по крайней мере, на Западе — не будет опираться на этот традиционный предрассудок в отношении к евреям.

— А я тебе говорю, — настаивал старик.

— А я тебя уверяю, — отвечал молодой.

— Я тебе говорю, — повторил старик, — быть евреем — значит жульничать. Так сказано. В словаре сказано. Ты можешь себе представить?

— Нет, не могу представить. Не могу, и больше того: это очень просто выяснить, поскольку у меня имеется Сокращенный оксфордский словарь — я купил его пять лет назад за девять пятьдесят, и нахожу незаменимым, и рекомендую тебе и каждому человеку приобрести в качестве инвестиции в английский здравый смысл и либеральную — в лучшем понимании — традицию, которая всегда была образцом и лучом света в окружающем темном и варварском мире. Подожди минуту. Сейчас мы убедимся в абсурдности твоих мифов.

Когда заметно упавший духом Амос поискал взглядом деда, старик, уверенный в том, что его правота подтвердится, уже покинул место спора и смотрел телевизор. Он оглянулся на внучатого племянника и рассмеялся, словно только что показал изумительный карточный фокус и был весьма доволен собой. Он кивнул на толстый словарь, в котором рылся Амос, и пожал плечами. В конце концов, не он его заставлял. Потом он снова повернулся к экрану и скоро забыл о споре.

Дядя Мартин приехал в Лондон на праздники Йом Кипур[38] и Рош а-Шана, Новый, 5723 год.

---

[38] Примечания: 38
Йом Кипур — Судный день (букв. День прощения).

— Но если не возражаете, я останусь до конца Суккота[39]. Это будет, дайте посмотреть… — он полистал записную книжку, — это семнадцатое октября.

Кто бы возражал! Это значило, что он узурпирует кровать сестры в ее маленькой муниципальной квартире, а сама она будет спать и кряхтеть на диване. Но:

— Что я могу сделать? — сказала она дочери. — Увижу ли я его еще раз? Он самый старший брат. Он приехал домой. И знаешь что? Он сводит меня с ума, иногда я кричу на него, но думаешь, я не буду по нему скучать? Я буду по нему скучать.

И вот наступил вечер, когда по инициативе бабушки молодого человека, младшей сестры старика, должна была собраться вся семья — скорее для того, чтобы увидеться друг с другом, чем для празднования еврейского Нового года, Рош а-Шана пятьдесят восьмого века. Она пришла со старшим братом в дом внука и принесла ощипанных цыплят, морковь, петрушку, лук, сельдерей, помидоры и все остальное, что требовалось для новогоднего ужина. Устроить его она решила здесь, у дочери, где комнаты были больше, а

[39] Примечания: 39

Суккот — семидневный праздник в память о кущах, в которых жили израильтяне в пустыне после исхода из Египта.

кухня лучше оборудована для приготовления многих блюд. Хотя до ужина еще было далеко, старик пришел с ней. Он дремал в кресле. Нудно требовал чая. Слонялся между кухней и гостиной. Раскладывал пасьянс. Пыхтел, кряхтел, бормотал, не слышал. Невинно, не прилагая усилий, заставил весь дом крутиться вокруг него, кричать, упрашивать, раздражаться и вместе с тем смеяться над нелепыми его догадками относительно того, что ему говорили.

— Извини, дядя Мартин. Мне надо поторопиться.

— Ты готовишь пиццу? Сегодня?

Или:

— Дядя Мартин, я спешу. Вот-вот придут гости.

— Иосиф придет? Кто такой Иосиф? Иосиф? Иосиф. Дай подумать, Иосиф?

Или:

— Мартин! В дверь звонят. Открой! Открой, ну.

— Конечно, я помню войну!

Или смотрел телевизор. Здесь, на экране, был мир, непрерывно его изумлявший. Он побывал на Луне и плавал в море с рыбами фантастических форм и расцветок; он улыбался улыбчивым китайцам и хмурился с хмурыми вождями африканских племен; он дивился изобретениям, с

которыми его ознакомили первым, и изумлялся зданиям, построенным со времен Адама.

Но больше всего — молодежи, странным молодым людям, очень симпатичным, уверенным и воспитанным. В особенности его заворожила одна молодая женщина, поп-певица; она сидела за роялем, сзади играла на гитарах и притопывала ее группа; по лицу ее скользила милая, легкая улыбка, движения ее были расслабленно-небрежны, взгляд лениво переходил с клавиш на камеру и обратно, на игривые пальцы на клавиатуре. Старик смотрел на нее с глубокой нежностью — она выглядела такой безмятежной. Обожание публики, успех, сознание своей красоты позволяли ей царить над всем, а ему внушали такое чувство, что он может целиком на нее положиться. Если в студии вспыхнет пожар, она сперва допоет песню, а потом выйдет наружу сквозь пламя и выведет уцелевших, неторопливо, с улыбкой, напевая. Он был уверен в этом. После того как она закончила песню, он почувствовал себя старым как никогда.

Этот вечер был последним вечером, когда Амос должен был принять решение о переезде в Штаты. Атмосфера не благоприятствовала обдуманному выбору. Договорились, что он пораньше

придет с работы — да, с работы! Старикам — соблюдать обычаи религии, молодым — работать; он должен был отвезти старика на вечернюю службу в синагогу поблизости, а потом забрать.

— Я тебе очень обязан. Ты очень добр. Забери меня в семь, самое позднее — в половине восьмого. Служба короткая.

Молодой человек сел в машину, пристегнулся ремнем и попросил старика не волноваться, он все сделает как надо. Дед забрался на свое место и, кряхтя, потянулся вбок, чтобы закрыть дверь.

— Пожалуйста, помоги мне с ремнем, — попросил он.

— Оставь меня в покое, дядя, — огрызнулся Амос. — Я пять лет вожу машину и ни разу не попал в аварию.

— Не понимаю, за что ты на меня сердишься, — сказал старик. — Я тебя обидел? Я был с тобой груб? Ты всегда сердишься и раздражаешься. Успокойся на пять минут.

Старик недоумевал. Он не обязан любить меня, не обязан даже уважать, но он должен задуматься на минуту, каково быть старым, неповоротливым и опасливым. Я что, слишком много прошу? От него нельзя слишком много требовать. Я понимаю. Но люди — недолговечные и встревоженные

существа и в свой срок состариваются, поэтому они должны задуматься и немного пожалеть друг друга. Так просто! Очевидно! Надо ли об этом даже говорить?

Молодой человек застегнул на старике ремень безопасности и вырвался на дорогу, яростно переключая передачи и дергая удивленного пассажира, который вцепился в ручку двери слева и в сиденье под собой и переводил непонимающий взгляд с дороги на странного молодого человека рядом.

Но ничто не могло испортить ему удовольствия от посещения синагоги. Старик любил весь ритуал. Может быть, самой большой для него радостью было посещение незнакомых синагог. Его не волновало, какого они толка — ортодоксальные, либеральные, реформистские, хотя странно было видеть, как в реформистской синагоге женщины бесстыдно смешиваются с мужчинами. Это неприличие вызывало у него смущенный, нервный смех. В каждой синагоге была своя особая атмосфера. На людях сказывался характер раввина: положительно, если раввин был веселый, величавый или велеречивый. Или если раввин был слабый, в людях проглядывали агрессивная заносчивость, чванство — раввин не мог устоять

перед их коллективным самомнением. Он шел у них на поводу!

Но какова бы ни была обстановка в синагоге, Мартин наслаждался любой. Ощущение близости, общности согревало душу, радость, которую доставляли людям их дети, действовала заразительно. Он ходил от человека к человеку, интересовался их биографиями, их особенностями, с гордым чувством, что он здесь свой. Старожил, прохаживающийся по знакомым территориям с чувством собственника. Он бывал здесь раньше, задолго до любого из них.

Перед синагогой собирались опрятно одетые мужчины и женщины, встречались с друзьями и родственниками. Извлекались для ежегодного употребления шутки, пропахшие нафталином, как праздничные костюмы.

— Спасибо Господу за Рош а-Шана, а то бы я думал, что ты умер!

— День уплаты долгов!

— Кажется, мы виделись всего год назад!

Все смеялись, разглядывали наряды друг друга, болтали о войнах, родах, о бизнесе, о непослушных детях, прощая друг другу скудость остроумия. Эта атмосфера так согревала душу старику, что он подходил к совершенно незнакомым людям,

смеялся с ними над анекдотами, которых не мог расслышать, пожимал им руки, целовал их жен.

А молодой, хоть и поглощен был своими переживаниями, обмирал от стыда.

— Это мой двоюродный дед, — говорил он, старательно изображая беззаботность. — Из провинции, приехал на праздники. Никого не знает, ничего не слышит и не понимает, куда попал. Вы уж присмотрите за ним, если не трудно. Я за ним приеду, когда тут кончится.

Все говорили «конечно», в особенности толстые средних лет мамаши, чьи дети уже не требовали постоянной опеки, — они особенно привечали старика, который целовал их, как любимых сестер.

— Дядя, — шептал молодой человек, — ты же их в первый раз видишь.

Женщины смеялись, показывая, что это не важно. Они понимают.

— Из нее выйдет чудесная жена, — сказал старик о женщине, которую наградил исключительно долгим поцелуем, окончательно смутив племянника. — Я-то в этом понимаю! Поверьте! Чудесной будет женой!

«Старый дурак, — думал племянник, спасаясь бегством. — Половину времени не соображает,

что делает, — проверю-ка я, когда на самом деле заканчивается этот помпезный ритуал. Кто-то тут должен знать, какие тут порядки. Приеду я в семь тридцать — и опять жди». Он нашел шамеса, служку — должность эта по традиции предоставлялась дурачку, но молодой человек не знал об этой традиции. Наоборот, он-то считал, что обратился к человеку, который годами наблюдал за приходом и уходом людей. Этот человек должен знать не только время начала и окончания служб, но и особенности своей синагоги, ее персональный характер. Он непременно знает, когда закончится служба, — именно он, а не дядя Мартин, мало того что маразматик, но еще и не бывавший ни разу в этой синагоге. А шамес — как раз специалист.

— В девять часов она заканчивается, — сказал специалист.

— Вы абсолютно уверены? — спросил Амос самым внушительным, самым требовательным тоном.

Грубый шамес, доселе не удостаивавший Амоса взглядом, — как шеф-повар на кухне, или министерский чиновник, или медсестра в больнице, глубоко убежденные в своей бесконечной важности по сравнению с теми, кого они обязаны

обслуживать, — на этот раз посмотрел на него. Взглядом, полным презрения.

— Абсолютно я уверен? А кто еще может быть абсолютно уверен?

— Я просто спросил. — В эту минуту Амосу открылось, как человек узнает жуткую правду о себе, узнав себя в другом.

— «Я просто спросил», — передразнил его старый шамес, который сыт уже был надутыми молодыми людьми, указывавшими ему, что делать, словно он был служкой в конторе их папаш. — «Я просто спросил!» Да, я уверен, что уверен! — гавкнул он. — Я так уверен, что уверен, что мне платят за то, что я уверен. Специалист! Открыть, закрыть, этот раввин, тот хазан[40] кто, когда, что — меня спрашивайте. Ну, ты доволен?

— Доволен, — сказал Амос. — Благодарю вас. — И он ушел, оставив служку подметать и передразнивать.

— «Благодарю! Благодарю!»

Полученная информация доставила Амосу удовольствие. Она его порадовала. Не только тем, что дядя Мартин перепутал время — этого следовало ожидать, но и тем, что даже в такой

---

[40] Примечания: 40
Кантор в синагоге.

организации, как синагога, есть специалист, причем специалист не по Богу. На самом деле ему было приятно услышать, что время окончания — другое. Он слегка обеспокоился бы, если бы шамес подтвердил слова старика, — старик не мог правильно назвать время. Старики ошибаются, должны ошибаться, если они, конечно, не специалисты в чем-то. Хотя, по определению, возраст лишает остатков квалификации. Ведь суть специалиста — способность подпитываться новыми знаниями, а новые знания принадлежат молодым и молодых подпитывают, как и должно быть. Во всяком случае, не восьмидесятидвухлетних старцев с глупыми представлениями о мозге и разделении людей на логичных и интуитивных. Удобная теория, простая — но вздор.

VII

Теперь он мог без помех подумать о своем затруднении. Он подъехал на машине к дому, а потом решил походить по улицам. Вечер был не самый подходящий для прогулок — не ясный вечер с яркими звездами и бодрящим холодом, как полагалось бы предвестию зимы. Нет, это была осень, виновато уползавшая в сырой тоске.

Унылый вечер, мутный от мельчайшей «водяной тли», как охарактеризовала ее Миранда, коварный, желтый вечер. И если Амос бродил по улицам, не замечая этого, значит, в самом деле выбор был для него мучителен.

Казалось бы, просто. Его образование, образ жизни, характер подвели его вот к чему: к возможности реализовать себя в прибыльном, несомненно, перспективном деле, в стране, которой он восхищался. С другой стороны — девушка, с которой он знаком полгода, она ему нравится, какое-то время он воображал, что любит ее, и ей, правда, предстоит страшная операция, но все-таки не такая уж необычная. Почти наверняка ничего нового не обнаружат. А после этого они, скорее всего, постепенно отдалятся друг от друга: она — потому что не захочет суррогатного чувства, отравленного жалостью, а он не простит себе, что отказался от шанса, единственного в жизни, как всем нам кажется, когда нам двадцать три года.

И ради чего? Чтобы утешать ее, быть рядом, просто присутствовать. Сентиментальные, парализующие соображения! Кто сказал, что первый наш долг — состоять при другом, с кем нас свел всего лишь случай? А сами мы, мы будущие? Они

тоже требуют заботы и верности. Понятно, на них труднее сосредоточиться, потому что они — в будущем! И все же, рассуждал он, в тридцать пять лет Амос будет другим человеком, не таким, как Амос в двадцать три. Какое он имеет право обделить этого другого человека, не говоря уже о тех, кого этот другой обязан будет кормить? Нет! Непросто решить, перед кем ты в большем долгу. Тем более что на будущее смотрят как на шутку. Кто и когда относился к будущему серьезно? Двенадцать лет! За это время умереть можно! Мир будет совсем другим! Над ним будут смеяться, он это понимал. Но понимал также, что этот другой, пусть и призрачный сейчас, будет существовать, и обязательства перед ним несравненно важнее обязательств перед Мирандой.

Он шел в желтой мгле, обдумывая свое призрачное будущее, и его пиджак, а потом и белье постепенно сырели, пропитываясь назойливой изморосью, липли к нему, вяло, как его мысли. Не годится! Соберись, молодой человек! Он попробовал сызнова. Но хотя начал с противоположного конца, вывод получался прежний: остаться и утешать Миранду, пожертвовав исключительными перспективами работы в Штатах, — просто сентиментальность, неправильно понятый долг.

Неопровержимо! Но хоть и неопровержимый, вывод не доставил удовольствия. Хуже того, сам организм ему противился. Суставы сделались тугими, он сразу устал — и от собственной персоны, и от ходьбы. Хватит!

До чего быстро становятся пустыми некоторые изыскания. Безрадостными, как построения силлогизмов: сухими и не питающими душу, не возвращающими энергии, затраченной на них, — вот так и эти выкладки опустошали Амоса. Отнимали адреналин. Отупляли. Почему? Не всякая логика на него так действовала. Чаще она взбадривала его. Он ощущал свой запах — не только сырой одежды, но и собственной затхлости. Миранда всегда говорила, что не верит его строгим рассуждениям, и теперь он сам чувствовал истину, как морось, заползавшую в душу: он сам себе не верит. Он почувствовал себя черствым созданием. И он знал причину! Эти «хорошие» родители. От них никуда не деться. В двадцать три года он нехотя привыкал к мысли, что они оставили на нем свой неизгладимый отпечаток, и его будущая призрачная личность, как речной туман, меняла форму и спрашивала: а что, если решение покинуть свою девушку, когда он ей больше всего нужен, окажется на-

стоящим предательством? А? Что, если будущий тридцатипятилетний Амос будет презирать, а не благодарить черствого Амоса двадцатитрехлетнего?

Господи Боже! Он — нравственный! Открытие! Он изумлялся открытию, потому что до сих пор рассматривал себя как аморальную личность. «Странно, — подумал он, — я считал аморализм интеллектуальной позицией, состоянием ума, которое достигается через рассудок. А может быть, аморальность — что-то вроде органического изъяна: как дислексия у некоторых или отсутствие музыкального слуха, так у других — аморальность?» Эта мысль позабавила его.

А потом возникло новое чувство, теплое и очень необыкновенное, — может быть, он полюбил? Признать это было труднее всего. Полюбить, думал он, значит во многом пожертвовать свободой передвижения, действия, мысли. Кто из его женатых друзей и друзей его родителей оставался счастливым по прошествии пяти лет?

Он посмотрел на часы. Восемь. Дядю Мартина забирать через час. Брр! Одежда влажная! Ноги мокрые, вялые, хлюпают. Как же он устал от этой сырости и безрадостных мыслей. Сколько можно бродить? У него родилась идея. Ванна! Он возли-

ковал. Остановился, будто встретив любимого друга, и громко произнес: «Да». Времени хватит. Только горячую, чтобы оттаяли кости, застучало сердце, бросило в пот, кровь побежала по жилам, чтобы ожить, расслабиться. Налить ароматического масла. Надышаться сладостными запахами. Побаловать себя. А потом — переодеться: в сухие носки, в свежую рубашку, выстиранный пуловер, брюки и куртку, которую он купил под руководством Миранды и только ждал случая обновить.

Словно ожидая награды за выполнение особого приказа, он ринулся домой обихаживать себя. Через несколько минут упругой походкой, взвинченный, но бесконечно веселый он вошел в дверь своего дома, полного родственников, собравшихся для праздничной трапезы по случаю Нового, 5723 года. В ответ на вопросы о том, где дядя Мартин, Амос ласково уверил всех, что у него все под контролем, там задержка до девяти, а то и чуть дольше, объяснять некогда, промок до костей, чуть жив, надо в ванну. Он поцеловал Миранду, которая с нетерпением ждала его и, да — необъяснимо — выглядела в его глазах женщиной, которую он любит!

— С Новым годом, — сказал он, — и добро пожаловать на твою первую трапезу Рош а-Шана.

Пусть она будет первой из многих. — Потом наклонился и шепнул: — Я остаюсь.

Он взбежал по лестнице, шагая длинными ногами через две ступеньки, и вскоре со вздохом погрузился в душистую ванну. Он все добавлял, добавлял горячей воды и напевал, отмокая.

* * *

В синагоге — модерновом зале с новенькими дубовыми панелями и латунной осветительной арматурой, напрочь лишенном изящества и церковной торжественности и, по замыслу строителя, отражавшим скорее зажиточность собравшихся, чем их религиозный пыл, — сидел старик и удивлялся, как изменилось все с тех времен, когда он жил в Лондоне.

— Переменилось, все переменилось, — шептал он людям вокруг. — Чудесно! Художественно! Как здесь стало красиво, так просторно, такая резьба, это новое дерево. Честное слово! А люди! Какие милые люди! Красивые люди в вашем районе. Прекрасно одеты. Молодежь. Яркие расцветки. И в синагоге. Я думаю, теперь это модно, да? Яркие вещи, никаких костюмов?

Его пытались унять, но он не слышал. Он любовался пурпурными рубашками и замшевыми

пиджаками — и что уж скрывать? — с завистливым восхищением.

— Я не скажу, что некрасиво. Красиво. Но совсем не то, что в мое время.

Он взял в руку молитвенник и энергично забормотал, раскачиваясь взад-вперед, с подлинным чувством, с жаром; потом, решив, что на эту минуту достаточно почтил Бога, уселся спокойно в позе Будды, сцепив руки на животе.

И теперь, в благоговейном покое, он с удовольствием вспоминал свое пребывание в Лондоне. Накануне они посетили художественную галерею в Уайтчепеле.

— Талантливые люди, — сказал он сестре. — Я такого не видел. Новое поколение. Какое великолепие. И рядом с тем местом, где мы жили, в Ист-Энде. Кто бы мог подумать?

Тут, вспоминал он потом, в голове у него соединилось. У молодого человека эта мысль родилась бы мгновенно, с энергией озарения. У человека преклонных лет она возникла со старческой замедленностью — не четкий рациональный вывод, а, напротив, совмещение образов, как в двух трубках бинокля, наводимого на резкость: цвета тщательно выписанных форм на холсте соединились с цветами одежд, и в этом был смысл.

Это был энергичный, яркий мир жизни, где он ощущал себя старым. В этих красках не было робости, а формы успокаивали своей гармонией. Он, конечно, не формулировал свои мысли в таких словах, но соединение и то, чт***о*** соединилось, его радовало. В эту его поездку, может быть последнюю, все как-то ладилось. Тут был покой. Никакого сомнения.

Он посмотрел вверх, на дам на балконе. «Наверняка многие из них не замужем, — подумал он. — Наверняка некоторые — вдовы, без мужей. Ужасно жить без мужа, в одиночестве». Он снова стал молиться, весело раскачиваясь взад-вперед, радуясь тому, что он здесь, среди приятных, ярко одетых и набожных соотечественников, в этом великолепном новом здании. К его восхищению не примешивалась зависть, и у него вырвался привычный смешок, в котором соседи должны были бы услышать довольство, но они с грустью приписали этот смех старческому слабоумию.

В половине восьмого служба закончилась, но внучатый племянник за ним не приехал. Люди потянулись из синагоги к своим машинам — некоторых ждали машины: понятно, потому что дождь, — и ему пришлось успокаивать толстых мамаш, которых он целовал на прощание

и которые вились вокруг счастливого старика, обеспокоенные тем, что он остается один, без присмотра.

— За мной приедут. Конечно. Обо всем условлено. А вы отправляйтесь домой и будьте счастливы, и пусть у вас будет хороший ужин, чтобы вы были сильными и здоровыми — зима наступает, вы понимаете?

Один за другим гасли огни в синагоге. К нему подошел шамес, и старик еще раз объяснил:

— Сын моей племянницы, он должен быть здесь, я с ним договорился.

— Вы знаете телефон? — Шамес был озабочен. — Скажите, я позвоню.

— Телефон? Адрес? Зачем? Зачем мне все это? Он молодой человек, очень ответственный, он работает, он образованный и все такое. Он знает, что я здесь, что он должен приехать. Зачем мне адреса, телефоны?

Специалист отошел, убеждая себя, что между стариком и молодым человеком, с которым он говорил перед службой, никакой связи нет. Кроме того, разве его вина, что там передумали и отказались от полной службы? «Сегодня народу было мало!» Сегодня мало! А когда его было много? Должны были сказать ему до службы. Кто

он им — украшение, что ли? Ему платят, чтобы он дело делал, — так дайте ему делать! Ни на что нельзя положиться. Но сколько бы он ни ругал их, он не мог отделаться от подозрения, что старик застрял здесь из-за его, служки, промаха. Раздраженный, он тихонько удалился, чувствуя, что уже не получит настоящего удовольствия от новогоднего ужина.

Полтора часа под дождем и в холоде ждал старик, расхаживая перед синагогой; он боялся вернуться к дверям по гравийной дорожке: нетерпеливый молодой человек мог приехать, никого не увидеть и тут же уехать, а он не успел бы до него добежать. Он увидел, как во двор синагоги вошли две девушки, подошли к окну и положили на подоконник пакет. Странное дело. Что, если это бомба? Проверить он не мог — вдруг в это время Амос подъедет? Конечно, там может быть просто хлеб для птиц, а если правда бомба? Улицы были безлюдны, и ветер дул ему в лицо. К счастью, пальто было толстое и плотное и пока не промокло.

Он не мог понять: я же ему сказал! Сказал: в семь. Самое позднее в половине восьмого. Он меня слышал. Обещал: хорошо, не беспокойся, приеду. Что там случилось? Оставили старика

мокнуть под дождем, а сами дома, в тепле, ужинают. Почему? Не знали? Как это не знали? Они уже не дети, взрослые ответственные люди, должны понимать такие вещи — договорились ведь. Их учили быть внимательными и заботливыми. Что это за человек, если он не внимательный, не заботливый, не серьезный? Ладно, они не религиозны — трапеза Рош а-Шана устраивается ради него. Большое спасибо, очень любезно с их стороны. Но где же их серьезность? Держать старика столько времени под дождем? Старик может простудиться в такую погоду. Что же там случилось? Где этот молодой человек, образованный молодой человек? Они там дома, в тепле, едят, а старик может умереть. Странное дело. Он ничего не понимал.

Клайв Синклер
Нахалы и умники
Пер. В. Пророкова

Я — нахальный еврейчик с окраины, среднюю школу я закончил, но до университета не дошел. Черпать знания из книг я не хотел, однако — язык у меня подвешен лучше не надо — я стал импровизатором, мастером неожиданных выходок — поглядывал по сторонам, чтобы не упустить — вдруг выпадет случай — переменить жизнь. Тем временем, выбора-то у меня не было, я трудился в семейном деле. Впрочем, я все равно считал себя вольной птицей, не то чтобы отщепенцем, скорее Дитятей Zeitgeist[41]. А духом времени было laissez-faire[42], без вопросов.

Тем не менее в обществе некоторых людей я остерегался распространяться о своих корнях. Да прелестная Фиона Буллфинч на одну грядку со мной не села бы, заподозри она, что мой отец поставляет кошерное мясо ортодоксальным ха-

---

[41] Примечания: 41
Дух времени (*нем.*).

[42] Примечания: 42
Свобода действий (*фр.*).

балкам из Милл-Хилла. Могу вообразить, как она стоит перед «Мясной империей Макси» на Бродвее, вся такая высокородная, и у нее глазки лезут из орбит при виде этих местечковых хамок с их штейтлскими[43] привычками, подбитыми ватой плечами, с их шейтлами[44], которые торгуются с моим папашей за каждую кучку требухи. «Вот чудно», — сказала бы она и в два счета умотала бы в родной Найтсбридж. И я ее понимаю — я и сам тяготел к метрополии. Да, в Милл-Хилле мы были аристократией, отца именовали императором Максом, но никто — даже такие легковерные особы, как мисс Буллфинч, — не счел бы его законным наследником трона Габсбургов. Да и меня самого называли наследным принцем, Александром Великим, но этот титул был сугубо местного значения, моя же цель была стать королем всего Лондона.

С Фионой я познакомился благодаря своему дружку Пинки, который делал вполне почтенную карьеру в Хаттон-Гардене, но занимался куда менее почтенными делами в квартире, которую

---

[43] Примечания: 43
Местечковыми (*идиш*).

[44] Примечания: 44
Париками (*идиш*).

мы снимали в Мейфэре на паях. Учитывая, что с подросткового возраста я заводил исключительно неподходящие знакомства, мои родители весьма одобрили решение обзавестись холостяцкой берлогой вместе с Пинки. Они считали, что у Пинки есть голова на плечах. И даже не подозревали, что мой безупречный приятель — скупщик краденого у высшего круга, придворный еврей нового поколения, а клиентуру он себе вербует преимущественно среди юных наркоманок-дебютанток и слабаков-наследников, увязших в карточных долгах: они тибрили мамочкины драгоценности и рассчитывали благодаря связям Пинки обратить их в наличность. С Пинки они чувствовали себя спокойно, поскольку доверяли ему и понимали, что им не грозит встретиться с ним в свете.

— Что я ценю в вас, Шейлоках, — объяснял один аристократ, — так это, что вас интересуют только деньги.

Между прочим, господин хороший, предки Пинки никакие не венецианцы, они прибыли из Варшавы через Антверпен, где занимались торговлей техническими алмазами и основали компанию, которой суждено управлять их заблудшему потомку — после того, как старик

Штраус отойдет от дел. Ввиду таких перспектив свахи Милл-Хилла считали Пинки прямо-таки филе-миньоном. Но ни он, ни я (тоже первосортный бифштекс) не стремились брать в жены милочек из Милл-Хилла, равно как продолжать трудоемкие дела отцов. От удушающих уз местного брака мы бежали сравнительно легко, а вот перерезать экономическую пуповину — это дело другое.

Как бы то ни было, но однажды в воскресенье явилась Фиона — с пластиковым пакетом «Хэррода», где, как я позднее выяснил, лежала диадема ее старшей сестры.

— Привет, — сказала она.

— Привет, — сказал я.

— Где Пинки? — осведомилась она.

— В Хаттон-Гардене, в магазине, — ответил я.

Она наморщила носик — словно само слово «магазин» подванивало. Так что когда она дошла до вопроса о том, чем занимаюсь я, я счел излишним признаваться, что я, хоть и живу в Мейфэре, оставался и остаюсь обитателем Милл-Хилла. Представил себя там — в белом колпаке и заляпанном кровью халате — и прибег к невинной лжи:

— Я — врач, точнее, хирург.

— Ого! — воскликнула она: это ее впечатлило, но не настолько, чтобы продолжать тему. От многих явное отсутствие индивидуальности отталкивает, но в случае с Фионой это лишь усиливало ее плотское очарование — как унылая оправа фамильной диадемы ее сестры подчеркивала великолепие бриллиантов.

Люди образованные знают, что случилось с дочерью царя Мидаса, когда он по рассеянности дотронулся до нее. Так вот, Фиона вполне могла бы быть ее сестрой. Золотые локоны, серые с золотистыми искорками глаза. Благодаря блестящим чулкам ее бедра и изящные икры отливали золотом. Лицо ее сияло. Если Клеопатра принимала молочные ванны, то Фиона, очевидно, купалась в меду. Под стать было и персикового оттенка платье. Взбудораженная и манящая. Вместо воскресного ростбифа она, видно, ублаготворила себя иначе: есть не стала, но нанюхалась. Я взглянул на часы. Пинки вернется нескоро. И я решил, что есть время для полуденных любовных утех.

— Здесь не Букингемский дворец, — сказал я, — но все же лучше, чем в приемной у дантиста. По крайней мере, можно послушать музыку, пока не явится Пинки.

Фиона устроилась поудобнее, а я поставил

«Дорз».

«Пять к одному, детка, один из пяти, — захрипел ныне покойный Джим Моррисон, — живым отсюда никому не уйти».

— Мерзко-то как, — сказала Фиона.

— Зато верно, — ответил я. Моррисон уже ударился в религию. «Тебе свое, детка, — пообещал он, — а мне свое». Такую философию я всецело разделял — ив теории, и на практике.

На этот случай у меня есть набор приемов — основаны они на виртуозном красноречии или на интеллектуальной изощренности. Но так как тут ни то ни другое было ни к чему, я решил разложить Фиону силой моего обаяния. Я хоть и не могу похвастать высшим образованием, но курсы обаяния, имейся таковые, я бы закончил summa cum laude[45]. Я красавец, и мускулатура у меня дай Бог каждому, а это, само собой, помогает. Если вам нужен полноправный представитель интеллектуальной элиты, типа Артура Миллера, тогда советую познакомиться с моим кузеном Ноем, еще одним беженцем из Милл-Хилла. Сам не знаю, почему я до сих пор поддерживаю с ним связь: у нас нет ничего общего, разве что мы росли

---

[45] Примечания: 45
С отличием (*лат.*).

вместе и он — последняя ниточка, связывающая меня с прошлым. Честно говоря, не понимаю я, почему и он со мной не порвал, однако Ной — единственный из родственников, который не устроил шиву[46], когда моя жизнь окончательно пошла наперекосяк. К вашему сведению, он придет через несколько минут, когда начнут пускать посетителей.

Итак, я подсел на диван к Фионе и сказал, что она похожа на Ширли Итон из «Голдфингера». Подумал, что это сравнение уместнее, чем экскурс в античную мифологию, но она все равно не сообразила, о чем я толкую. Чтобы помочь ей, я описал знаменитую сцену, когда Бонд входит, а Ширли Итон лежит ничком на покрывале.

— Мертвая? — спросила Фиона.

— Мертвее не бывает, — ответил я, — и выкрашенная с головы до ног золотой краской. — Чтобы было понятнее, я руками изобразил, как ходила кисть по дублерше Ширли.

— А-аа, — сообразила наконец Фиона.

Когда я вернулся из ванной, облаченный в стандартный презерватив, Фиона сказала:

— Извини, моя вера этого не допускает.

---

[46] Примечания: 46
Семидневный траур (*иврит*).

— И где же выход? — осведомился я.

— Есть много способов, дурачок, — ответила абсолютно голая, в чем мать родила, аристократка, — иначе миром бы правили католики.

Я не стал возражать и вошел в нее как Папа Римский предписал.

— Боже мой, Алекс! — взвизгнула Фиона, домчавшись до оргазма со скоростью «Летучего шотландца»[47]. — Ты — супер! — Хотя основная моя специальность — обаяние, но и по второй — постельному искусству — я получил достойные баллы. — Где ты этому научился? — спросила моя новая подруга, очнувшись от посткоитального забытья.

Мне пошутить — как я обычно это делаю — и то было трудно.

— Я приобретал плотские познания, — сказал я, — на медицинском факультете.

— С кем, с сестрами? — спросила она.

— А то с кем же, — ответил я, — хотя с женскими трупами оно и того лучше. Главное — довести их до оргазма.

— Ты и это мог? — ахнула Фиона.

— Ну, если постараться… — ответил я.

---

[47] Примечания: 47
Железнодорожный экспресс Лондон — Эдинбург.

— Ой, Алекс, — сказала глупышка, — хочешь, затрахай меня до смерти.

Я еще не успел ее прикончить, когда явился Пинки в сопровождении некоего щеголя, которого, если бы не избыток меланина, можно было бы счесть сливками общества. Оказалось, Васим родом из Лахора, впрочем, теперь, как и мы, он был полноправным обитателем Мейфэра. А еще он был владельцем Кенсингтонского хранилища ценностей, где Пинки укрывал свою добычу, пока подыскивал ей новых хозяев.

— Васим объединился со мной, потому что ему нужен совет по финансовым вопросам, — объяснил Пинки.

Васим с поклоном обратился к Фионе.

— Ваше очарование позволило мне ненадолго забыть о своих горестях, — сказал он. — Поэтому я перед вами в долгу. Если я смогу хоть чем-то отплатить вам, обращайтесь ко мне безо всякого стеснения. Обещаю, я не стану скрываться от вас, как скрываюсь от других кредиторов.

Я сразу распознал собрата: Васим, как и я, за словом в карман не лез, настоящий шмуцер[48], как сказала бы моя матушка. Отбыл он уже в

---

[48] Примечания: 48
Нахал (*идиш*).

качестве подобострастного стража Фиониной контрабанды. Фиона же уходила удовлетворенной вдвойне — переполненная семенем Алекса и с сумкой, набитой побывавшими в обращении банкнотами от Пинки.

В скором времени и мне понадобилось посоветоваться с Пинки по финансовым вопросам. Жалованья, которое платил мне отец, едва хватало на квартиру в Мейфэре, а свидания с Фионой — она посещала лишь самые фешенебельные едальни, истощили мой бюджет. Пинки, золотой человек, согласился дать мне беспроцентный заем. Поверьте, после такого признание Фионы сняло камень с моей души: она сообщила, что я не единственный ее кавалер и помимо меня она встречается с парнем, который утверждает, будто он настоящий, хоть и непризнанный, наследник иракского престола. Ее радость, когда она поняла, что я не ревную, меня тронула.

— Ты в самом деле не против? — воскликнула она. — Ты готов продолжать в том же духе?

— Разумеется, — ответил я. — Все уже забыто! — Разве мог я обижаться на женщину с рефлексами, как у собаки Павлова?

— Ой, Алекс, — восхитилась она, — какой же ты классный!

Она глубоко ошибалась, поскольку класс подразумевает основательность, а я был всего лишь люфтменч — человек воздуха — и отлично понимал, что в один прекрасный день мой воздушный шар лопнет. Видимо, поэтому я всегда завидовал Ною. Он выглядел человеком основательным, глубоким: имел чудесную жену, читал лекции в Сент-Олбанском университете, имел и репутацию, и научные труды. И в довершение всего у него прелесть какая дочурка. Счастливый человек, во всяком случае, так мне казалось. Теперь ему позавидует разве что Иов.

— По-моему, ты похудел, Ной, — говорю я, когда он с дочкой за ручку входит в комнату свиданий. — Знаешь, это уже слишком.

— Ты говоришь, как моя покойная мамочка, — угрюмо отвечает он.

Я переключаюсь на его дочь.

— Привет, куколка, — говорю я и целую ее в щечку. — Рад тебя видеть. — И тут замечаю шрам сантиметра в два у нее на лбу. — Рози, бедняжка, — говорю я. — Какой кошмарный шрам! Что стряслось? С тебя что, скальп пытались снять?

— Несчастный случай, по глупости, — отвечает Ной. — Это было в Египте.

— Ах да, — говорю я, — спасибо за открытку. — И

прошу гостей сесть. — А это мой Египет, — говорю я. — У нас такие жесткие надсмотрщики — жестче этих стульев. Разве что воду решетом носить не заставляют.

Когда мы наконец устраиваемся, Ной замечает, что у меня сломан нос.

— Бог ты мой! — восклицает он. — Александр, что с тобой приключилось?

— Тоже несчастный случай, — отвечаю я. — Поскользнулся на обмылке в душе. — Он конечно же знает, в чем дело: по эту сторону решетки доносчики приравниваются к растлителям малолетних. — Развлеките меня, — говорю я, — расскажите, что поделывали по возвращении из земли фараонов.

— Папа водил меня в Лондонский университет на лекцию профессора Франкфуртера, — сообщает Рози.

— Узнаю твоего папашку! — хмыкаю я. — Другой отец повел бы дочь на диснеевские мультики или на «Кошки». Но не мой братец, для него это банально, так ведь, мистер Умник-Разумник? — Я вознагражден: Рози прыскает. — А этому необходимо шлепать[49] тринадцатилетнюю детку

---

[49] Примечания: 49
Здесь: волочить (*идиш*).

слушать, как выживший из ума старый хрыч вещает о… Ной, просвети меня, поделись плодами своей мудрости, чтобы я мог побаловать ими сокамерников. — Я вижу, что посыпал солью свежую рану.

— Меня издевками не прошибешь, Натан, — говорит Ной. — Уж не полагаешь ли ты, что я должен позволить Рози стать пассивной потребительницей? Я что, напрасно направил ее в Бельмонт, а не в «Брент-Кросс»[50], а раз так, я хочу, чтобы она изучала историю и английский, а не обучалась таскаться по магазинам. Полагаешь, что я злоупотребляю родительской властью, когда внушаю ей, что жить — значит не только получать и тратить? — Лицемерный резонер! Когда мы были подростками, Ной начал заикаться. Я всегда был нахалом, а он-то считал себя умником-разумником, и я очень огорчился, когда он перестал заикаться так же внезапно, как и начал. Когда потоки его речи вновь полились беспрепятственно, меня так и подмывало врезать ему по носу. И теперь я испытываю это желание с удвоенной силой.

— Признаю свою ошибку, — говорю я и сжимаю

---

[50] Примечания: 50

«Брент-Кросс» — первый крупный торговый центр в Англии, открылся в Лондоне в 1976 г.

кулаки. Но бить не бью, предпочитаю ранить его словом. — Рози, — говорю я, — будь добра, расскажи Алексу, чему ты научилась у профессора Франкфуртера.

Рози заливается краской, а полоска на лбу белеет.

— Что в новейшей истории еврейского народа были не только трагедии, — говорит она, — были и великие достижения.

— И ему понадобился целый час, чтобы это сообщить? — спрашиваю я.

— Я не все слышала, — признается Рози. — Я заснула.

Я, торжествуя, обращаюсь к Ною.

— Будь так любезен, заполни пробелы, — прошу я.

— Я тоже не все слышал, — отвечает он.

— Ей-богу, — кричу я, — должно быть, история не знала лекции скучнее!

— Напротив, — отвечает Ной, — начал он лекцию исключительно эффектно. Выдающийся ученый, почетный профессор, чей всемирно известный голос не поднимался выше гипнотического шепота, воззвал к нам, своим слушателям, и попросил отринуть недоверие и представить себе мир, где не было Холокоста. Шесть милли-

онов погибло, этого отрицать — упаси Бог — не надо, он только хотел, чтобы мы вообразили современную Восточную Европу, где еще бурлит еврейская жизнь. Наш эрудированный гид провел нас по этому воображаемому содружеству, обратил наше внимание на разнообразные достижения этого потерянного поколения, благодаря которым Нобелевская премия стала еврейской монополией. И вдруг ни с того ни с сего заговорил об Эссексе, точнее, о еврейском Эссексе, имея в виду, по-видимому, наши Чингфорд и Илфорд. Почему профессор выделил именно эти места? Уж не намеревался ли он противопоставить их Вене, Праге и Львову, высмеять их в качестве среза англо-еврейской культуры? Но я уже перестал его слушать. Два коротеньких слога — «эс-экс», и я уже чувствовал себя Прустом, откусившим знаменитую размоченную в чае мадленку. Возможно, профессор мог оживить и мертвых, но удержать меня ему было не под силу — я был в иных местах, гулял по саду.

Во всяком случае, на вид это был сад как сад, с ивами и розами, картину портила лишь высоченная труба, которая извергала жирные клубы черного дыма. Я вошел в крематорий, назвал имя жены, подождал, пока служащий отыщет

картонную коробку с урной, поставил ее на заднее сиденье машины. Доехав, я решил, что негоже оставлять ее там, отнес в дом и положил на диван. В тот день Рози примчалась из школы позднее обычного. И тут же заметила коробку. «Что это?» — спросила она. «Не что, — ответил я, — а кто». Мы отвезли Черити в Эссекс, развеяли ее прах над деревушкой, ставшей навсегда ее пристанищем. Так завершился ее страшный via dolorosa[51]. — Он улыбнулся дочке. — Поэтому я и не могу рассказать тебе, о чем еще говорил профессор. Возможно, слушай я повнимательнее, я бы узнал, какое чудо поможет сотворить мир без рака, мир без палаты номер одиннадцать в его преисподней, мир, в котором все еще заключена моя жена.

Я не могу без содрогания вспомнить предпоследнюю остановку Черити на ее крестном пути — палату номер одиннадцать, палату для раковых больных. Я сейчас сижу в тюрьме, и в моем нынешнем заключении есть хотя бы какая-та логика, справедливость, если хотите: преступление повлекло за собой наказание. Но в чем провинилась Черити, за что она попала в камеру

[51] Примечания: 51
Крестный путь (*лат.*).

смертников? Ее хлебом не корми, дай сделать доброе дело. Она была заместителем директора специализированной школы на окраине Уотфорда, где обучали трудных детей, ребятишек, с которыми не справлялись обычные школы. После ее смерти директора таких школ писали Ною прочувствованные письма — не удивлюсь, если все они были в нее влюблены. Почему бы и нет? Мне и самому она нравилась, хотя такого социопата и поклонника Тэтчер, как я, она бы за милю обходила. Политически активный директор школы — совсем другое дело, возможно, она отвечала им взаимностью — на словах или даже на деле, но это не столь серьезное правонарушение, во всяком случае, не такое, за которое надлежало подвергать ее бренную плоть адским мукам.

Ей было всего сорок шесть, хотя когда она поступила в палату номер одиннадцать, она выглядела собственной бабушкой. Впрочем, к тому времени ей уже было все равно, как она выглядит. Тщеславие, достоинство, силу воли — сжирающая плоть боль победила все. На столике у кровати лежали аккуратно сложенные шелковые платки, а на подушке покоилась ничем не прикрытая лысая голова. Ее длинные волосы выпали посреди зимы — все сразу, через десять дней после первого сеан-

са химиотерапии, когда еще жила надежда, что она поправится. Ной вспоминал, как обнаружил их в ванной, они торчали из плетеной корзины, как шевелюра на отрубленной голове. Так оно, в сущности, и было.

— Перемены есть? — спросил я, хотя все понимал, как не понимать.

— Не к лучшему, — ответил Ной.

Тогда еще, хоть сейчас в это трудно поверить, была надежда, что есть такое средство. Теперь-то мы поумнели, знаем, что средство, которое прописал всемирно известный онколог, сидя в своем заставленном книгами кабинете, было лишь прекрасной идеей, средством сугубо теоретического свойства. Он, наподобие старых мастеров, сделал гениальный набросок, а воплощать замысел отправил учеников в свою мастерскую, где, как они ни тщились, от его замысла осталась лишь бледная тень. Так и панацея, предложенная великим онкологом, оказалась бессильна перед человеческой слабостью — и Черити, и врачей, не говоря уж о распорядке больничной жизни.

Я заметил, что женщина на соседней койке выглядела еще хуже Черити. Через несколько мгновений, увидев, что занавески у ее кровати задергивают, я догадался почему. Сквозь щелку

между занавесками я разглядел, как две медсестры причесывают ее, поправляют постель — готовят усопшую к последней встрече с безутешными посетителями. Они о чем-то болтали, быть может, о грядущих выходных. Вдруг их хлопоты и беседу прервал дикий, достойный кисти Мунка[52] крик. Они озирались, пытаясь понять, кто кричит, и увидели не убитого горем супруга, а другую медсестру: она стояла на цыпочках на стуле и в ужасе показывала на дверь, открытую из-за летней духоты. В нее-то и залетел едва оперившийся птенец-дрозд.

— Что ты шум поднимаешь? — спросила медсестра, статью походившая на горничную из мультфильма про Тома и Джерри. — Это же не мышь, всего лишь птичка.

— Я их до ужаса боюсь, — простонала вспорхнувшая на стул медсестра, — умоляю, уберите его!

Другая медсестра хмыкнула и, сложив руки лодочкой, наклонилась к заплутавшему птенцу. Почувствовав, что хищник уже несется к нему, расправив крылья, птенец благоразумно отпрыгнул и нашел прибежище под соседней

[52] Примечания: 52

Картина «Крик» Эдварда Мунка (1863–1944), норвежского художника-экспрессиониста, изображает вопящего в ужасе человека.

кроватью. Толстуха медсестра опустилась на колени, выставив на обозрение внушительный зад, и попыталась выманить птицу из укрытия.

— Иди сюда, детка, — заурчала она, — иди к мамочке.

Естественно, до смерти напуганная пташка не поддалась на уговоры и осторожно заковыляла на желтых лапках прочь, вдоль стены. Медсестра на четвереньках продолжала погоню за птенцом, к ней присоединились все коллеги за исключением той, что забралась на стул, и тех двух, которые обихаживали усопшую, — однако и они наслаждались зрелищем. И что тут такого? Если смерть угнездилась в Аркадии, почему бы joie de vivre[53] туда не залететь?

Птица всласть заставила за собой погоняться, но в конце концов, как и следовало ожидать, была загнана отрядом медсестер под кровать усопшей. Все опустились на колени, чтобы не выпустить птицу из-под кровати, а о мертвом теле наверху и думать позабыли. Труп также не обращал ни малейшего внимания на воркотню дочерей Папагено[54] у него под кроватью. Крылатый пленник

---

[53] Примечания: 53
Радость бытия (*фр.*).

[54] Примечания: 54
Птицелов Папагено — персонаж оперы Моцарта «Волшебная флейта».

замер, явно приняв сестер милосердия за ангелов смерти. Суматоха продолжалась до тех пор, пока нечеловеческий крик не раздался снова и птицеловы не умолкли.

— Это просто цирк, — одна из сестер расхохоталась. — Не успеем поймать одну, как прилетает другая.

По приказу своей толстозадой предводительницы они вновь нырнули в нижний мир и защебетали.

Осиротевший супруг, онемев, изумленно взирал на выставленные в ряд задницы. Быть может, он решил, что так отдают последнюю дань его жене, что это заупокойная молитва на мусульманский лад, освященный временем ритуал, принятый в палате номер одиннадцать. Если так, то он понял, что заблуждался, когда больничная Диана восстала, торжественно зажав в кулаке окаменевшую от ужаса птицу. Ее коллеги тоже поднялись — ни дать ни взять группа умалишенных на подпевках. Увидев супруга покойной, они попытались покончить с весельем так же, как Ричард III со своими племянниками в Тауэре. Но, в отличие от принцев, веселье было не придушить.

— Неужели в вас нет уважения к горю? — возо-

пил несчастный, стараясь держать себя в руках. Признаюсь, я и сам смеялся, готов поклясться, что и Ной улыбнулся.

Если мир разделен на тех, кто в палате номер одиннадцать, и тех, кто может свободно приходить и уходить, то это указывало, что Ной, как ни страдает за жену, все еще на нашей стороне. В то же время положение Черити подтверждало, что границы далеко не устоялись и что даже самые великодушные и оптимистичные из нас не защищены ни от чего. Жуешь себе спокойно травку вместе со всем стадом, а потом, раз — и твоя туша уже красуется в витрине «Мясной империи Макси». C'est la vie[55].

Однако comédie larmoyante[56] на том не кончилась. С леденящим кровь воплем вдовец кинулся к одру.

— Вот это горе так горе, — восхитился Ной.

Тем временем смущенные медсестры открыли окно и смотрели, как птенец воспаряет к небесам, — казалось, душа покойной улетает ввысь.

— Профессор Франкфуртер говорил вовсе не об

---

[55] Примечания: 55
Такова жизнь (*фр.*).

[56] Примечания: 56
Слезоточивая комедия (*фр.*).

Эссексе, вот в чем ирония. — Ной наконец решается прервать молчание. — Я его неправильно понял: сам виноват, забыл, что у него сильный акцент. Видишь ли, он обсуждал этику, — гогочет Ной. — Этику, а не Эссекс.

— Этика-шметика, — говорю я, — да люди вроде этого профессора просто хотят вам внушить, будто их только этика и заботит. Не верь ты ни единому его слову. Взять хоть эту чушню про мир, в котором жертвы Холокоста остались бы живы. Вот уж чего Франкфуртер никак бы не хотел. Понимает: вернись эти шесть миллионов, что было бы с его raison d'être[57] и драгоценным моральным превосходством. Достопочтенный профессор может костерить нацистов и их приспешников, но все это — детский лепет по сравнению с остервенением, с которым он говорит об истинных злодеях, своих конкурентах. Все это суета, братец, суета сует. Что ты так скептически на меня смотришь? Если соблаговолишь выслушать, приведу доказательства.

Рози зевает. Я глажу ее по головке и адресуюсь к ее отцу:

— Пару лет назад один мой друг, точнее,

---

[57] Примечания: 57
Смысл существования (*фр.*).

бывший друг стал литературным редактором «Еврейского голоса». Человек энергичный, он решил во что бы то ни стало заполучить в авторы всевозможных знаменитостей и, естественно, пригласил и Франкфуртера. Гигант мысли согласился, при условии, что газета, ранее позволившая себе задеть его, искупит свою вину. И соответственно, когда вышел очередной шедевр профессора, редактор заказал рецензию поклоннику нашего профессора, человеку известному. По счастливому совпадению, в редакцию тогда же заглянул подрабатывавший там фотограф и упомянул, что завтра профессор будет ему позировать. «Вам снимки показать?»— спросил он. «Разумеется», — ответил редактор. Он свое обязательство выполнил, опубликовал весьма лестную рецензию, да еще вкупе с фотографией нашего мудреца.

Через несколько недель его пригласили на публичную лекцию выдающегося педагога в кембриджском Тринити-колледже. Он отправился туда груженный книгами. Когда разглагольствования закончились, избранная публика удалилась в бар в углу университетского двора, где редактор, втершийся в свиту профессора, продемонстрировал свой товар в надежде, что

какой-нибудь из волюмов придется великому человеку по вкусу. Профессор был сама любезность, однако сообщил, что есть некая деталь, которую он предпочел бы обсудить с глазу на глаз. И наша парочка направилась по лужайке к обеденному залу. Едва они оказались вне пределов слышимости, настроение профессора резко переменилось. Он принялся грозить пальцем, отчитывал редактора как последнего дурака и орал, да-да, орал: «Могла бы быть и получше! Могла бы быть и получше!» Рецензия и впрямь не слишком глубокая, подумал ошарашенный редактор, но гением-то его назвали. Чего ему еще надо? «Я все утро провел с фотографом, которого вы прислали, — рвал и метал профессор, сомкнув в рамку большой и указательный пальцы, — а вы напечатали снимок с почтовую марку. Вот что я вам скажу, сэр: фотография могла быть и получше!»

Отлично понимаю чувства профессора. Я тоже взбесился, когда «Еврейский голос» напечатал мою фотографию, впрочем, по обратной причине. На хрена выбрали такую здоровую?

— Анекдот из жизни знаменитости, — говорит Ной. — Прежде чем сделать вывод, я бы хотел заслушать противоположную сторону. А что,

если фотограф помешал записать какой-то важный сон, оказался, так сказать, человеком из Порлока?[58]

Я пропускаю его слова мимо ушей.

— Почему ты не можешь признать, что Франкфуртер — дутая величина? — говорю я. — Может, у меня мозги и послабее, чем у тех, кем ты восхищаешься, но я, по крайней мере, не лицемер. Я — наглый прохиндей, которого застукали с поличным, и ничего из себя не строю.

Впрочем, стиль у меня был всегда: мое кредо — le style est l'homme même[59], вот почему клиенты Пинки меня приглашали на приемы, а его нет. Впервые с претендентом на иракский трон я встретился на новоселье, где хозяйкой выступала некая прерафаэлитская красавица с тягой к постмодернизму. На Фионе было платье, разрезавшее ее по экватору и едва прикрывавшее тропики, а сопровождавший ее несостоявшийся тиран был облачен в синий блейзер, отутюженные брюки и

---

[58] Примечания: 58

Английский поэт С. Кольридж говорил, что поэму «Кубла Хан» сочинил во сне. Когда он сел записать ее, к нему неожиданно явился человек из города Порлока, и поэма улетучилась из его памяти. С тех пор нежданного визитера называют человеком из Порлока.

[59] Примечания: 59

Стиль — это человек (*фр.*). Эта фраза принадлежит французскому естествоиспытателю Жоржу де Бюффону (1707–1788).

мокасины из мягкой кожи. Выглядел он довольно щеголевато, и детали, надо признать, подобрал с умом: шелковая рубашка с монограммой, запонки с гербом, армейский галстук, знак отличия в петлице — все это ненавязчиво указывало на королевское происхождение. Однако я на все это не повелся: он был даже не принц, а всегонавсего актер, опустошивший костюмерную. И даже не Кэри Грант, а Тони Кертис в «Джазе только девушки». Мне наставлял рога обычный аферист, трепач с кровью не голубее моей. Да и вряд ли он из Ирака. Араб — что да, то да, это я еще допускаю.

Арабский шейх огляделся и, заметив меня, самумом пронесся через многолюдную залу. Я не отступил и готов был постоять за свое lèse-majesté[60]. Однако наш доморощенный король Хусейн был само дружелюбие.

— Наша встреча — это перст судьбы, — объявил он и протянул мне руку. — Нам суждено стать если не братьями по крови, то хотя бы confrères[61]. Как иначе назвать мужчин, которым выказывает расположение одна и та же женщина, чье семя

---

[60] Примечания: 60
Здесь: оскорбленное величество (*фр.*).

[61] Примечания: 61
Собратья (*фр.*).

смешалось в ее чреве? Расскажите мне о себе. Насколько я понял, вы врач. Это так?

— Точнее будет сказать, хирург, — скромно ответил я.

— Великолепно! — сказал он. — Мой кузен Саддам работает костоправом в Мидлсексе. Вы, случайно, о нем не слыхали?

— Увы, нет, — ответил я. — Я работаю с Магдой Якубом в Хэрфилде.

— Какое совпадение! — обрадовался он. — Другой мой кузен, Валид, правая рука сэра Магды. Собственно говоря, в воскресенье утром меня пригласили послушать, как сэр Магда будет петь в церковном хоре. Вы тоже там будете?

— К сожалению, нет, — сказал я. — В эти выходные я дежурю.

— Какая жалость, — сказал он. — Мы могли бы пойти туда вместе. Обменялись бы впечатлениями о Фионе. Быть может, пообедали бы в любимом пабе сэра Магды. Не напомните, как он называется?

Я понимал, что он блефует, и тут же придумал название.

— «Голова сарацина», — сказал я.

— Ну как же! — ответил он. — Как я мог запамятовать?

Я не упустил возможности перехватить инициативу.

— Вас и в самом деле прочат на иракский престол? — спросил я. — В таком случае я мечтал бы услышать, как вы пережили кровавую бойню пятьдесят восьмого. Я был уверен, что тогда вырезали всю королевскую семью.

— Touché![62] — расхохотался псевдопринц. — Пора прекращать этот фарс. Я такой же принц Башир, как вы врач. Башир-то я Башир, но не принц. Мы оба — как бы это выразиться? — хамелеоны. Не то что эти избалованные хлыщи, которых не интересует ничего, кроме собственных удовольствий. Мы живем своим умом. Фиона верит нашим россказням не потому, что беспробудно глупа, а потому, что ее никто, в сущности, не интересует и ей все равно, правду ей говорят или врут. Я неплохо изучил англичан и пришел к выводу, что главная черта их аристократов — отсутствие любопытства. Вы же, напротив, человек проницательный. Стоило вам на меня взглянуть, я понял: вы меня раскусили. Вероятно, даже догадались, что я не из Ирака. Уверен, вы

---

[62] Примечания: 62
Здесь: задет (*фр.*).

с ходу распознаете маронита[63] из Восточного Бейрута. Думаю, Фиона и не подозревает, что есть и арабы-христиане; для нее араб — он и есть араб. Бьюсь об заклад, ей и в голову не приходит, что вы еврей.

Он вскинул руку.

— Друг мой, прошу, не надо возражать — не оскорбляйте меня. — В его словах таилась угроза, и я понял, что мой новый приятель Башир не прощает оскорблений.

— Зачем бы я стал это отрицать, — сказал я. — Разумеется, я еврей.

— Прекрасно! — сказал он. — У меня нет никаких предубеждений на этот счет. Я постоянно веду дела с евреями. Так что когда Фиона аттестовала мне Пинки — должен сказать, не самым лестным образом, — я подумал: вот человек, с которым можно проворачивать дела. Будьте так любезны, представьте меня ему в ближайшем будущем. Возможно, вас это удивит, но у себя на родине я сотрудничаю в основном с израильтянами. Наши политики никак не могут найти общий язык, религиозные фанаты вцепляются друг другу в глотки, однако рад вам сообщить,

---

[63] Примечания: 63

Мароните — представители особой ветви католической церкви в Сирии и Ливане.

что среди моих коллег-торговцев царят мир и согласие. Мы преодолели свойственную нашим народам взаимную ненависть и стали подлинными интернационалистами. Смею вас уверить, в современном преступном мире границ не существует. Урожай, собранный в долине Бекаа в среду, уже в четверг попадает на рынки Тель-Авива или Дамаска. Нас, как и всех провидцев, зачастую понимают неправильно. Мы считаем себя авангардом капитализма, а нас обвиняют в злонамеренности и растлении невинной молодежи. — Он пожал плечами. — Прибыль есть, почета нет. Что ж, можно жить и без этого.

Теперь, мой друг, ваш черед раскрывать секреты, — улыбнулся он. — Удовлетворите мое любопытство: если вы не хирург, чем вы на самом деле занимаетесь?

— Я работаю в отцовском магазине в Милл-Хилле, — признался я. Однако такой скупой ответ его не удовлетворил.

— В магазине? — переспросил он. — И что это за магазин?

— Кошерная мясная лавка, — с вызовом ответил я, — одна из крупнейших на северо-западе Лондона.

— Сколько у нас общего! — расхохотался ли-

ванский наркобарон. — Мой отец тоже был мясником. Во всяком случае, так называли его враги, а имя им легион. Самым болтливым был Тони Франджипане, он держал собственную армию. Вроде бы отец Тони и мой отец рассорились на какой-то крупной христианской сходке. Дело обычное, но Тони взъярился и решил отомстить. Он велел своим людям пристрелить моего старшего брата. Тогда мой отец собрал человек пятьдесят фалангистов и окружил дом Тони. Тони понимал, что сдаваться не с руки. Все было как в кино типа «Перестрелки в корале О'Кей»[64]. К счастью, мы постояли за себя не хуже Эрпа. Когда перестрелка закончилась, оказалось, что погиб не только Тони, но и его жена, дочь, телохранители, слуги и скот. Можете себе представить, что фалангисты делали с палестинцами, если они так расправились с собратьями-христианами. Все это было на моих глазах. Отец взял меня с собой, когда мы вошли в Сабру и Шатилу[65]. «У нас строгий кодекс чести, — сообщил он мне. — Девочек младше двенадцати насиловать

[64] Примечания: 64

Американский вестерн 1957 г., главный герой — ковбой Уайетт Эрп.

[65] Примечания: 65

Лагеря палестинских беженцев, в которых христиане-фалангисты устроили резню в 1982 г.

запрещено. — Он обнял меня за плечи. — Это Бейрут, сынок, не Копенгаген. Иди, развлекись». В те времена я был джентльменом — не обесчестил ни одной моложе семнадцати. Увы, когда дошло до казней, выбирать не приходилось. После резни я смотрел, как отец и его закадычные дружки празднуют легкую победу. Они резвились как школьники — палили из ружей в воздух, пили «Шато Мюзар» из горла. Но чего добились эти Дон-Кихоты? Перестреляли несколько сотен безоружных палестинцев? Славы такая победа не принесет. И чего, спрашивается, величаться — это все равно как если бы работники бойни, поставщики вашего отца, праздновали триумфальную победу над стадом покорных коров. Наверняка, когда вы рубите мясо или четвертуете курицу, ваше воображение рисует куда более славные подвиги. И я был такой же, разве что готов был не только строить воздушные замки, а делать дело. Отца его бойцы считали героем, а я видел лишь мелкого князька, провинциального Муссолини. Я разбил ему сердце, когда отказался ему наследовать и покинул Бейрут. Однако оно того стоило: я упорно трудился и добыл состояние. А теперь приехал в Лондон, чтобы добыть славу.

Наша троица — Пинки, Башир и Дитя Zeitgeist

— подъехали к Кенсингтонскому хранилищу ценностей. Подъехали в арендованном на день «форде». Башир сменил номера на поддельные дипломатические, что дало нам право проехать по Посольскому ряду, удобно расположенному в квартале от места нашего назначения и предназначения. Мы припарковались, пожелали друг другу удачи и разбились на две группы. Пинки вошел в псевдоготический кошмар первым, записался в журнале и отдал свой ключ клону Шварценеггера. Когда они спускались по винтовой лестнице, явились — с помпой — и мы. Я представил своего спутника как Башира, наследного принца иракского престола и перспективного клиента. Был вызван Васим. Он заметно нервничал. Когда пожимал нам руки, я отметил, что ладонь у него потная.

Он предложил показать нам хранилище и провел в служебное помещение, где здоровенный страж этого царства беспечно отворил железную дверь в хранилище. Едва дверь распахнулась, Башир двинул ее плечом, сбив охранника с ног. За этим последовал удар тупым предметом по голове, и это вырубило стража настолько, что он дал приковать себя к батарее. Васим непечатно выражался, но сопротивления не оказал.

Охранник, сопровождавший Пинки, кинулся на шум, но, оказавшись лицом к лицу с усатым арабом, вооруженным револьвером, застыл как вкопанный. Мигом смекнув, что дитя пустыни с горящим взором готово применить оружие, благоразумный охранник, последовав примеру Васима, поднял руки, и ваш покорный слуга надлежащим образом надел на них наручники.

— Внизу еще кто-нибудь есть? — осведомился Башир. Понедельник был на исходе, и мы знали, что в это время здесь относительно пусто, а побрякушки, взятые на выходные, уже возвращены на место.

— Всего один посетитель, — ответил охранник.

— Великолепно! — сказал Башир и обратился ко мне: — Приведи его. — Пинки, которому было что терять, буянил куда активнее стражей, но его утихомирили и связали, как и прочих. Для большего правдоподобия Васима тюкнули по макушке рукояткой револьвера.

Наведя порядок в подвале, Башир сходил к машине за орудиями нашего нового ремесла. На обратном пути он закрыл Кенсингтонское хранилище на ночь и вернулся, ведя с собой плачущую администраторшу.

— Ну что ж, за работу! — объявил он.

Банковская ячейка открывается двумя ключами — ключом банка, который мы получили от Васима, и индивидуальным ключом владельца ячейки. В отсутствие последнего нам пришлось прибегнуть к дрелям и ломам, оказавшимся не менее эффективными. За работой я напевал первые строчки песни Нила Янга: «Хочу я жить, хочу давать, золотое сердце хочу искать». Хотя, по правде говоря, чувствовал я себя персонажем из «Тысячи и одной ночи», а не героем времен золотой лихорадки. Мне казалось, будто холодильный отсек на задах «Мясной империи Макси» волшебным образом преобразился и заледеневшие куски туш вместе с лоснящимися внутренностями, и рубиновый фарш, и яшмовая печень, и жемчужная птица и впрямь претворились в схожие драгоценности. Мы все энергичнее и энергичнее взламывали ячейку за ячейкой. Башир порезал руку о зазубренный край вспоротой дверцы сейфа.

— Смотрите! — воскликнул он и продемонстрировал кровоточащую ладонь. — Вот и стигматы. Теперь наше деяние воистину освящено!

Вскоре стало совершенно очевидно, что мы опустошаем самый щедрый из рогов изобилия за пределами Тауэра.

Взгляд Башира пылал как у религиозного фанатика.

— Это фантастика, мечта сбылась, — воскликнул он, — вот оно, преступление, не имеющее равных.

Зараженный его пылом, я сочинял газетные заголовки: «Дитя Zeitgeist замешан в миллиардной краже». И тут я сообразил, что знаменитыми становятся только пойманные преступники. Суть идеального преступления в том, что преступник остается анонимом. Прирожденного позера, который мечтает заявить о себе как о Рембрандте преступного мира, это не устроило бы. Достаточно ли Башир держит себя в руках, чтобы бежать от света рампы? Меня одолевали сомнения. Я стал подозревать, что он намеревался втайне оставить на месте действия свою метку. Больше мы там почти ничего не оставили.

Ночной сторож Посольского ряда только что не отдал нам честь, когда мы уезжали на нашем арендованном авто. Сокровища из машины в нашу мейфэрскую штаб-квартиру пришлось перетаскивать в несколько приемов. Ванну завалили банкнотами, кладовку — пакетами с кокаином. Часы «Ролекс» и «Картье» выстроили как оловянных солдатиков на ковре в столовой.

Золотые монеты сложили столбиками. Были тут и бриллиантовое озеро, и рубиновый холмик, и серебряные джунгли, и самая настоящая гора золота.

— Мы точно станем миллионерами, когда избавимся от этого добра, — буркнул я.

— Идиот! — взорвался Башир. — Ты что, еще не понял, зачем я это сделал?

Он попал в точку. Я не понял, да и как понять, когда я и про себя не понимал, почему ввязался в такое рисковое дело. Разумеется, мне были нужны деньги, чтобы сбросить с себя иго Милл-Хилла и обеспечить себе независимость. Но только ли в этом было дело? Быть может, каждый удар по утробе запертой ячейки был схватками, потугами при рождении нового Александра, уже не нахального еврейчика, а полноправного члена высшего общества.

— Бог ты мой, — сказал Пинки, вернувшись из полицейского участка, — так вот что такое богатство, от которого глаза разбегаются.

В ближайшие же дни он начал распродавать самые броские из побрякушек, и мы наконец смогли ходить по квартире, не жмурясь от их сияния. С очередной тайной встречи он вернулся с подарком для меня.

— Золота было так много, можно даже сказать, слишком много, и часть я отдал, чтобы из него отлили тельца. Подумал, может, ты подаришь его отцу — пусть повесит в витрине. Кто знает, вдруг это поможет ему избыть боль от твоего отступничества.

Пинки был хорошим другом и заслуживал лучшего отношения. Само собой, когда рухнули мои планы и вместо обласканных солнцем берегов Средиземного моря я оказался в этом холодном исправительном доме, тельца бесцеремонно изъяли.

Настроение у меня паршивое. И меньше всего мне хочется видеть моего елейного кузена.

— Ной, ты меня не очень-то любишь и тем более не одобряешь, — говорю я. — Почему же ты так часто меня навещаешь?

Ной напускает на себя непроницаемость и не удостаивает меня объяснением.

Тем временем недокормленный представитель люмпен-пролетариата (у императора Макса он бы интереса не вызвал) ковыляет через комнату на костылях и опускается на стул напротив пергидрольной блондинки. Ее приветствия мы не слышим, в отличие от громогласного ответа посетителя.

— Дура тупоголовая! — вопит он. — Что ты несешь? Жизнь на этом не кончается. Главное — подольститься к инспектору по досрочному освобождению. Ходи на собрания, ни одного не пропускай. Не то просрешь все, как я. Я виню себя, хотя не вся вина на мне. Одна девица имела на меня зуб, вот и болтала направо и налево, что это я продал ей валиум. Богом клянусь, если бы это тебе помогло, я бы их всех бросил. Я люблю тебя. — Он ненадолго умолкает. — Почему ты не скажешь, что любишь? Хотя бы просто повтори. — Он снова замолкает. — Ну, как знаешь. Не будешь мне изменять? То есть когда выйдешь? — Опять пауза. — Скажи правду, — требует он. — Что это за мистер Грин тебя все время навещает? — Наконец она что-то отвечает. — Откуда я знаю? — кричит он. — Здешние ребята сказали, что он бывает здесь через день, вот откуда. Кто он такой? Сука! Почему не даешь жить спокойно?

Тем временем мой мистер Грин, о чьем присутствии я чуть не забыл, решает мне ответить.

— Тебе хочешь не хочешь приходится меня слушать, — говорит он, — и обходишься ты куда дешевле психотерапевта.

— Значит, тебе нужен взвешенный совет человека без высшего образования и тем более без

нравственных устоев? — говорю я. — Видать, тебе и в самом деле туго.

— Я просто хочу, чтобы ты меня выслушал, — говорит он. — Случилось нечто неожиданное. — Его дочь отсутствует, из чего я делаю вывод, что дело тут в cherchez la femme[66].

— Я — весь внимание, — взбодрившись, говорю я.

— Как тебе известно, — говорит Ной, — Рози требовала, чтобы ее возили к маме каждый день, после школы. Мне было тяжело смотреть, как девочка в ее тринадцать нежно гладит мать по лбу, а та не отвечает ей никак. Рози каким-то образом не упала духом, не ожесточилась, она понимала и прощала материнское небрежение. Она — удивительный ребенок, дочь своей матери. Тем не менее я чувствовал, что мне нужно пообщаться с учителями — хотя бы убедиться, что у нее нет проблем с учебой, что нет признаков депрессии, которые я проглядел. Меня уверили, что ничего подобного не наблюдается. «Не волнуйтесь, я за ней присмотрю, — сказала мисс Типтри, ее классная руководительница, — мало ли что».

Состояние Черити стремительно ухудшалось, и

---

[66] Примечания: 66
Ищите женщину (*фр.*)

я все чаще наведывался в Бельмонт. Поначалу я сидел с мисс Типтри в холле, потом она стала приглашать меня к себе в кабинет — там она, бывало, держала меня за руку и плакала. В тот день, когда рухнула последняя надежда, я из палаты номер одиннадцать направился прямиком в школу. Я повторил мисс Типтри слово в слово все, что мне сказала врач-консультант со слезами на глазах, и мисс Типтри сжала мою руку. «Ной, по-моему, ваша жена умирает». Она не произнесла этого вслух, но явно подразумевала, что чем скорее это произойдет, тем лучше. Мисс Типтри еще сильнее сжала мою руку, когда я объяснил, что альтернативой может быть никак не ремиссия (не говоря уж об излечении), а набирающая силу агония, отчего желание, и вполне естественное, чтобы Черити не умирала, приобретает оттенок садизма. Тем не менее желать ее смерти я тоже не мог. Согласись, дилемма душераздирающая, но об этом ли я тогда думал? Нет, меня волновало, как мисс Типтри откликнулась на мое горе. Скажи, Александр, каким чудовищем надо быть, чтобы находить удовольствие в описании подобных мерзостей?

— Ной, — говорю я, — боюсь, мы с тобой схожи куда больше, чем готовы признать. Мы оба

дешевые трепачи, мы беззастенчиво пользуемся другими для достижения своих целей. Я обворовал неизвестных мне держателей ячеек в Кенсингтонском хранилище, причем многие из них и сами были гангстерами, а ты заимствовал муки Черити. Я не философ, но, на мой взгляд, твой грех мерзее моего.

— Ты еще не слышал худшего, — говорит Ной.

Как это забавно. Визит моего братца оказывается куда интереснее, чем можно было ожидать.

— Не прошло и месяца, как Черити умерла, — продолжает он. — Я повез Рози в Египет, и с мисс Типтри встретился… только три недели назад. Была суббота, я завез Рози к подружке, которая пригласила ее с ночевкой. Назад я ехал по Виктория-стрит и притормозил около «Рога носорога» — пропустить машину, выезжавшую с парковки, и вдруг сам решил туда заглянуть: вечер был теплый, домой возвращаться не хотелось.

Я оказался старше всех посетителей бара за исключением хозяина. Большинству из них было лет двадцать, а то и меньше того. Развлекали публику четверо псевдоальбиносов, которые вообразили, что они в Мемфисе, штат Теннесси. «Я стою на перекрестке, — выл певец, — и, похоже, я тону». Сам себе я казался ожившей

окаменелостью и уже собрался сбежать, но тут, к своему удивлению, заметил мисс Типтри — она под одобрительные вопли перевозбужденных шестиклассников направилась походкой профессионального боксера к музыкантам. Только когда она уже взобралась на помост, я сообразил, что она намеревается петь. Что делать — уйти, остаться? Любопытство оказалось сильнее замешательства. Я остался.

Начальные аккорды оказались знакомыми — это был гимн нашей далекой юности. «Буду ждать до полуночи… — грохотала она, — и тогда любовь придет…»Я отметил, что она вполне в образе: черные колготки, короткая юбка, джемпер в облипку. Более того, у нее и голос был — хрипловатый, но ласковый, Арета Франклин[67] с молоком и сахаром. «Буду ждать до полуночи я… этот час озарит любовь моя… лишь ты и я… лишь ты и я». Что и говорить, заблуждение это распространенное, но на миг мне показалось, что она обращается ко мне. На самом же деле, увидев меня, она завизжала.

— Боже правый! — причитала она. — Что вы обо мне подумаете? Школьная учительница

---

[67] Примечания: 67
Арета Франклин (р. 1942) — американская негритянская певица.

— сама строгость, — обещавшая присмотреть за вашей дочкой, так осрамилась.

— Давайте присядем, — сказал я.

Она рухнула на стул.

— Седьмой джин с тоником, — сказала она, — это была ошибка, и еще какая. До него я как-то держалась. — Она посмотрела на меня, глаза ее увлажнились. Погладила меня по щеке. — Вы такой грустный, — сказала она. — Если бы я только могла вас развеселить. Позвольте хотя бы угостить вас.

Я отвез ее домой.

— Спокойной ночи, лапуся, — сказала она, когда я остановил машину у ее дома, поцеловала меня в губы и убежала. С тех пор я стал часто бывать у мисс Типтри, но больше она меня не целовала.

— Папа, — сказала Рози, почуяв неладное, — ты ведь не встречаешься с мисс Типтри?

— Нет, — ответил я. — А если бы и встречался, что тут такого?

— Много чего! — воскликнула она. — Мисс Типтри — моя учительница.

Несмотря на запреты Рози, я пригласил мисс Типтри на свидание по-настоящему. Все как положено, да ты же знаешь, Александр. Выходной день, она при параде, ты при параде, заезжаешь

за ней, выскакиваешь из машины, распахиваешь перед ней дверцу. Едете в какой-нибудь шикарный ресторан, где к столу вас ведет Бела Лугоши[68]. Потом ты платишь по счету и, если повезет, оканчиваешь вечер с ней в постели. Короче, мисс Типтри, она же Билли, легко на это пошла — во всяком случае, на первую часть программы. Она припарадилась, я припарадился.

— Ну, что скажешь? — Она прямо на пороге крутанула пируэт. — Сексуальна до жути, а?

Так оно и было, но это была бравада — Билли пребывала в крайнем волнении.

— Неделя выдалась адская, — сообщила она, когда мы неслись по шоссе к Лондону. Она опекала одну проблемную девочку, тоже ученицу Бельмонта, и та отплатила за доброту, обвинив ее в сексуальных домогательствах. Я сказал, что с Черити случилась похожая история. В начале своей карьеры она приютила одну беглянку — вместо того чтобы сдать полиции. Та украла у нее кое-что из одежды, вдобавок полиция поставила Черити на вид. Я подумал, что у этих двух женщин много общего: обе истово заботились о детях, особенно о тех, к которым мир был жесток.

---

[68] Примечания: 68

Бела Лугоши (1882–1956) — американский киноактер венгерского происхождения, классический исполнитель роли Дракулы.

Было одно существенное отличие: Билли, живая и здоровая, сидела рядом со мной в машине.

«Pont de la Tour»[69] был насквозь французским, там даже официанты словно сошли с плакатов Тулуз-Лотрека. К закускам я заказал розовое шампанское, а к оленине для Билли и утиному филе для себя — крепкое красное Рендэлла Грэма с виноградников Бонни-Дун, и сомелье со своим блокнотом походил на полицейского, берущего показания. В качестве аперитива моя спутница выпила двойную порцию джина с тоником. От алкоголя у Билли проснулся аппетит и наступила легкая амнезия: она отвлеклась от Бельмонта с его проблемами и сосредоточилась на настоящем. Язык у нее тоже развязался. Она подняла бокал и сказала:

— Может, тебе будет интересно узнать, что я бы не хотела провести этот вечер ни с кем другим.

Кофе с ликером мы пили в баре, где милейший чернокожий музыкант играл на пианино и тихонько напевал какой-то джаз. Обижало ли его, что все в баре не обращают на него внимания? Все, за исключением моей спутницы. Целый час Билли барабанила пальцами по столу, успев

---

[69] Примечания: 69
Башенный мост (*фр.*).

выхлестать четыре джина с толикой тоника. Набравшись таким образом духу, она подошла к пианисту и предложила свои услуги в качестве вокалистки. К сожалению, пианист не был так уверен, что слушатели горят желанием услышать «Мустанг Салли». Тем не менее Билли гнула свое. Она присела на корточки у инструмента и стала вести себя как «Грешный» Пикетт[70] с Вэном Моррисоном[71]. Пианист утверждал, что ему заказано давать микрофон певцам, более outré[72], чем Элтон Джон. Менеджер, заметив, в какое затруднительное положение он попал, пришла к нему на помощь. Билли сообщила ей, что она настоящая красавица. Вернувшись за столик, она и официанта назвала красавцем. И попыталась погладить его по лицу. Тот отпрянул.

— Откуда будете? — спросила она.

— Из Польши.

— Да? Поляки тоже не дураки выпить.

---

[70] Примечания: 70

Уилсон Пикетт (1941–2006) — американский негритянский певец, популярный в шестидесятые годы. Один из его альбомов называется «Wicked Pickett» — Грешный Пикетт. «Мустанг Салли» — его песня.

[71] Примечания: 71

Вэн Моррисон (р. 1945) — ирландский рок-певец, также популярный в шестидесятые.

[72] Примечания: 72

Рисковый (*фр.*).

Когда мы с Билли подружились, она предупредила, чтобы я к ней не очень привязывался — наверняка подведет. Именно этим она и занималась — обманывала мои ожидания, демонстрировала свою никчемность, портила вечер. Но я ей не отец и не судья. Я не хотел давать ей возможность сказать: «Говорила же я вам, что игра не стоит свеч». Ведя себя так, она избавлялась от ответственности, от страха неудачи, и — самое главное — так она могла не бояться, что ей причинят боль. Она старалась, чтобы ее пророчества сбывались — это были мины, которыми она обложила свое сердце. Недуг Черити был всепожирающий, он неумолимо глодал тело, в котором поселился. Недуг Билли тоже был саморазрушающим, и это превратным образом еще больше влекло меня к ней. Я был исполнен решимости обойти все препятствия и добраться до молочных рек с кисельными берегами.

На дороге из Сити все еще действовал полицейский контрольно-пропускной пункт, который установили из-за ирландских террористов. Теперь, когда их коктейли Молотова покоились до поры до времени в чуланах, бдительные власти занялись отловом водителей, которые коктейли не швыряли, а потребляли внутрь. Я, в отличие

от Билли, лыко вязал, но алкоголя в крови у меня было предостаточно. Неужели такое возмездие было мне уготовано? Неужели судьба собралась покарать меня за попытку изменить покойной жене ночью за решеткой?

— Куда вы ездили? — спросил полицейский, когда мы подъехали к шлагбауму.

— В ресторан, — ответил я.

— Вы что-нибудь пили? — Отвечать утвердительно было слишком опасно. Разве можно, заказав бутылку, ограничиться парой бокалов?

— Алкоголь мне запрещен, — сказал я. — У меня рак.

Я поднялся в квартиру Билли. Она налила себе очередную порцию джина. Тоника у нее не было, и она добавила нечто под названием «Ум Бонго». Очевидно, тут-то остатки разума ее покинули, потому что она поцеловала меня. Губы у нее были мягкие, однако в ее поцелуе сквозило отчаяние. Мы опустились на пол, где отношения «родитель — учитель» перешли в фазу прямого контакта.

— Ого-го! — расхохоталась Билли. — Давненько я так не обжималась.

Я расстегнул ее блузку, под ней обнаружился белый лифчик. Черити была тоненькая и ничего такого не носила. Я принялся ласкать

высвободившиеся груди. Билли прикрыла глаза и замурлыкала.

— Я лет двадцать не видел лифчиков в действии, — сказал я, надеясь облегчить переход к более интимным играм. Это оказалось тактической ошибкой.

— Я думала, ты другой, — сказала она, — а ты такой же, как все. Польстился на мои сиськи. Если бы хватило духу, я бы их отрубила. — Вся в слезах она вскочила всклокоченной Венерой. — Кровь и песок[73], — выла она, — кровь и песок. — Она плюхнулась на диван и стала бороться с овладевшими ею бесами. Но не с незримыми абстракциями, вроде Иеговы, а с материальными — в духе чудовищ Мориса Сендака[74]. Эти жуткие монстры ее пугали. Она и ласкала их, и била, и шептала что-то им на ухо, и рыдала над ними, и отшвыривала в угол. — Я, наверное, спятила, — причитала она. — Разговариваю с куклами.

— Лучше поговори со мной, — предложил я.

— А блузка у нее все еще была расстегнута? —

---

[73] Примечания: 73

«Кровь и песок» — неоднократно экранизированный роман Бласко Ибаньеса, история любви матадора и великосветской дамы, приведшей героев к трагическому финалу.

[74] Примечания: 74

Морис Сендак (р. 1928) — американский художник и детский писатель, автор и художник книги «Там, где живут чудовища».

спрашиваю я Ноя.

— Между прочим, да, — отвечает он.

— Значит, надежда оставалась? — говорю я.

— Оставалась, — отвечает он.

— Она с тобой говорила? — спрашиваю я.

— Говорила, — отвечает Ной. — Сказала, что до смерти устала быть сильной, быть душой компании. Сказала, что хочет, чтобы теперь о ней заботились. Я предложил себя.

— Это была бы огромная ошибка, — сказала она, — огромная ошибка для нас обоих. Либо я тебе причиню боль, либо ты мне.

— Не причиню, — пообещал я.

— Это все пустое, — сказала она. — Такой возможности у тебя не будет. Никогда, никому и ни за что я не дам с собой сблизиться.

Тут она мне рассказала о своем папаше — отличный был папаша, только пил много, а еще о бывшем муже, который ушел к одной ее коллеге.

— Ты его любила? — спросил я.

— Больше жизни, — ответила она. — И до сих пор люблю. В этом-то вся проблема.

— Он, наверное, просто спятил, — сказал я.

— Какой ты милый, — сказала Билли, повернулась ко мне лицом, и я поцеловал ее. — Скажи, а ты хотел бы, чтобы Черити вернулась? — спро-

сила она.

— Конечно, — ответил я. А что еще я мог сказать? Но, честно признаться, в тот момент я не хотел рядом с собой никого, кроме Билли. Не значило ли это, что я подсознательно желал смерти Черити — чтобы иметь право волочиться за другими женщинами? Президент Картер однажды признался, что в душе он прелюбодей, так, может, я в душе убийца? Может, кровь Черити на моих руках? И если таково преступление, то каково же будет наказание? Я не верю в Бога, а если б и верил, то мой Бог был бы как те судьи, что любят выносить смертные приговоры. При мысли об этом я содрогнулся.

— Извини за дурацкий вопрос, — сказала Билли. — Давай забудем о наших печалях и потанцуем.

— Почему тебе нужно превращать банальное соблазнение в психодраму? — ехидничаю я. — Я думал, профессор Гамбургер — образец самовлюбленности, но ты его обошел; вот у тебя тоже эго так это эго. Позволь тебе напомнить, что Черити убил не ты. Ее убил рак. Она умерла от рака в палате номер одиннадцать. Сделай одолжение, братец, не морочь себя, не усложняй такую простую штуку, как похоть, приплетая

судьбу Черити. Неужели так трудно признать, что сисястая Билли поняла тебя как нельзя лучше, поняла, что на самом деле ты ждешь от нее плотских наслаждений?

Мы оба знали, что я прав, но Ной скорее откусил бы себе язык, чем признался бы в этом.

— Когда Билли сказала: «Давай потанцуем», она имела в виду не традиционное па-де-де, — он пренебрежительно пожимает плечами, — а то, что она называла «воздушными танцами», для них нужно лечь рядом на пол и махать руками под гром хеви-металла. Как тебе известно, Александр, у меня нет чувства ритма. Беспристрастный наблюдатель догадался бы, что я разыгрывал пантомиму, возможно, изображал охваченную паникой жертву кораблекрушения. Боюсь, никто не принял бы меня за горюющего вдовца сорока с лишним лет.

Ничего не могу с собой поделать. Мой смех не сдержать бы и Асуанской плотине. Бедняга Ной разобиделся.

— Какой же ты нечуткий, все, что угодно, превратишь в балаган, — сетует он. — Над Танатосом и то смеешься. А уж над Эросом ржешь как лошадь.

— Не воспринимай ты себя так серьезно, — го-

ворю я, — был бы во сто крат счастливее.

— Как ты? — срезает меня он. На это мне нечем ответить.

— Тем временем ангел-хранитель Рози, возбужденный «Бифитером» и «Пинк Флойдом», парил где-то высоко над вверенным ему телом, — продолжает Ной. — Наши руки соприкоснулись случайно, а потом уже и губы — не случайно. Я расхрабрился, расстегнул ей молнию на юбке. Трусики у нее были под стать бюстгальтеру. Если я напоминал утопающего, то она выглядела как Эстер Уильямс[75] в бикини. Я сунул руку ей в трусики. Оказалось, что ягодицы у нее на удивление холодные.

— Можешь лечь на меня, — сказала она.

— Догадываюсь, что произошло дальше, — говорю я. — Вернее, не произошло. Тебе не обломилось, нет?

Ной мотает головой.

— Хотелось бы сказать, что этого не произошло, потому что я не мог воспользоваться слабостью пьяной разведенки, — говорит он, — или потому, что я все еще остро переживаю утрату Черити, только врать не хочу. Мое фиаско не имело

---

[75] Примечания: 75

Эстер Уильямс (р. 1921) — американская киноактриса, в юности была пловчихой.

ничего общего ни с моралью, ни со смертью, и истина, как это ни печально, в том, что я, жалкий хлюпик, просто испугался такой искушенной, как мне казалось, женщины. Но она вовсе не была такая уж искушенная, у нее было всего два любовника, считая мужа, — вот смех-то. Теперь уже есть третий, только это не я. Через неделю после нашего свидания к ней случайно заглянул давнишний друг, здоровенный детина, который на стул не садится, а седлает его. Он так и остался у нее, седлает теперь не только стулья Билли, но и ее саму. «Ной, — сказала она во время нашего последнего разговора, — это случилось, мой корабль приплыл в гавань».

А корабль Ноя, судя по его виду, затонул.

— Безмозглая неуемная шлюха — вот кто тебе нужен.

Вид Ноя, исполненного отвращения к самому себе, мне так приятен, что я не желаю облегчать его страданий и не говорю, что он, скорее всего, легко отделался. Иначе я рассказал бы, какой новостью огорошила меня Фиона Буллфинч.

Она явилась нежданно-негаданно пару часов назад, как всегда прекрасная, хотя на редкость неуместная, — английская роза на куче навоза. Протянула мне корзинку с фруктами — будто я

больной и здесь не тюрьма, а больница.

— Фиона! — сказал я. — Какой сюрприз!

— У меня есть сюрприз покруче, — ответила она. — Я беременна.

— Принимаешь поздравления? — осведомился я.

— Все зависит от того, как к новости отнесется отец, — ответила она.

— И кто он? — спросил я.

— Ты, — ответила она.

— Откуда ты знаешь, что не Башир?

— Потому что эта двуличная свинья отсидит двадцать лет, — ответила она, — а тебя выпустят через пять.

Итак, на меня в одночасье свалился груз ответственности, а беспечные поступки повлекли за собой благотворные побочные последствия.

— Угощайся, — говорю я Ною и показываю на Фионину корзинку с фруктами. Он берет яблоко, но тут же хватает штуковину покрупнее и жадно к ней принюхивается.

— Перезрелая, — сообщает он, будто мне сейчас до этого есть дело. — Слишком резко пахнет, смесью женского пола и сладковатого дезодоранта. До ужаса похоже на то, как пахло под мышками у Черити.

— Ты что хочешь сказать, — обрываю его я, — что твоя жена воплотилась в израильскую дыню? — Неужели человек, который с пророческим пылом развенчивал материализм, окончательно свихнулся? Уж не решил ли он, что ему нужна более ощутимая поддержка, чем та, которую может дать незримая жена? Жалкий ублюдок, уходя, забирает дыню с собой, и я испытываю удовлетворение, пусть и не радостного свойства.

Обычно между часом и двумя хозяева оставляли магазин на кого-нибудь из продавцов и удалялись в комнату позади, где ели ржаной хлеб с пастрами (главный мясник требовал называть это сандвичем с солониной) и смотрели дневные новости. Зачастую отец, еще с полным ртом, ругал репортеров, особенно когда они демонстрировали свою антисемитскую сущность и позволяли себе нелестные замечания об Израиле.

— Да угомонись ты Бога ради, — говорил я, — не то язву наживешь.

В день, когда я угодил в яму, которую рыл отнюдь не себе, мы включили телевизор чуть позже и перечень новостей пропустили. Вместо этого мы попали на рассказ о кучке сердобольных истериков, которые блокировали английские порты, твердо решив не допустить экспорт телят по ту

сторону Ла-Манша, где обитали жестокосердные любители телятинки.

— Бедные создания и так жестоко страдают, а им предстоят еще худшие муки — когда обитатели континента засадят их в кошмарные клетки, — говорила женщина в платке и зеленых резиновых сапогах, по возрасту годившаяся Фионе Буллфинч в бабушки. — Это преступление против человечества, так же поступали фашисты с евреями.

— Ты слыхал? — завопил отец. — Эта мерзавка сравнила уничтожение миллионов с пущенными под нож коровами, которые все равно пойдут на отбивные. Забавные у англичан приоритеты. Готов поклясться, большинство из них скорее всадили бы нож в своих соотечественников, чем в скотину.

Он все еще поносил извращенные нравы гоев, но я уже не слушал. Наверное, даже не дышал. Я чудом не грохнулся в обморок, когда дикторша сообщила, что в охоте на ограбивших Кенсингтонское хранилище ценностей наметился прорыв. На пятне крови, обнаруженном на месте преступления, сохранились отпечатки пальцев, совпавших с имеющимися в картотеке Интерпола. На экране возникло лицо Башира

со зловещими усами. Его отрекомендовали как международного наркоторговца, связанного с террористами, сообщили, что он вооружен и чрезвычайно опасен. И посоветовали держаться от него подальше. Почему я не последовал этому разумному совету?

Башир возбудился донельзя.

— Ты слыхал, как они меня назвали? — хвастался он. — Гений преступного мира!

Как мы его ни умоляли, затаиться он не пожелал. Наоборот, купил «феррари-тестаросса» и расплатился толстенными пачками денег из хранилища. Он переехал в шикарнейший отель Мейфэра и купал Фиону Буллфинч в королевской роскоши. Не знаю, когда за ним начала следить полиция, но на встрече Пинки с Баширом в «Хилтоне», где состоялась передача крупной суммы денег, она уже присутствовала. Мой ненаблюдательный сосед вернулся за полночь, в сопровождении дюжины незваных гостей.

— Так-так-так, — сказал один из полицейских, потирая нос жестом, общим для полицейских всех времен, — похоже, вы не в силах изменить свои многовековые привычки — черного кобеля не отмоешь добела.

Башира арестовали тут же. Фиону тоже забра-

ли. Когда она наконец поняла, что украшала себя ворованными драгоценностями, а не сокровищами иракской короны, она была оскорблена до глубины души. Обвинение в укрывании краденого оскорбило ее куда меньше.

Башир тут же во всем признался, хвастал, что это он придумал, организовал и привел в исполнение самое потрясающее преступление на памяти нынешнего поколения. Услышав, что нашу добычу оценили в двадцать пять миллионов, он расхохотался.

— Да там было без малого сорок! — настаивал он.

Власти были склонны ему поверить: сочли, что часть нашей наживы — контрабанда, поэтому сведения о ней отсутствовали. Только когда Баширу разъяснили, что в случае, если главарь банды сознался в содеянном, его присутствие в Центральном уголовном суде до вынесения приговора не требуется, он заткнулся и изменил заявление с «виновен по уши» на «невинен как овечка». Он решил выжать все, что можно, в отведенное ему, увы, весьма ограниченное, время в суде — ведь для преступника это все равно что Вестминстерское аббатство для престолонаследника, готовящегося к коронации.

Суд и должен был стать его коронацией, публичным признанием его заслуг. Поэтому каждое утро он являлся в суд разодетый в пух и прах, в костюмах от Джорджио Армани и темных очках. Он кокетничал с жюри, приподнимал очки, чтобы подмигнуть присяжным попривлекательнее. Однако когда меня вызвали давать показания, он перестал кривляться, и вид у него сделался зловещий. Когда я поднял правую руку и поклялся говорить правду, он, не сводя с меня глаз, медленно провел пальцем по горлу.

Не могу не признать, основания на это у него были. Потому что я собирался рассказать, как зарождался наш заговор, назвать имена и кто в чем виноват. Я рассказал, как познакомил Башира с Пинки, как они нашли общий язык и составили список самых интересных вариантов в Лондоне. Кенсингтонское хранилище ценностей было в числе первых, а Васим, по мнению Пинки, мог сыграть роль Сезама для желавших его открыть. Он рассказал о финансовых затруднениях Васима — тот принес компании убытков на полмиллиона, сам задолжал банку шестизначную сумму — и предположил: если на него слегка надавить, он с радостью согласится поучаствовать в ограблении собственной фирмы. Так оно и оказалось.

Я к ним присоединился, потому что был нахалом и умником.

Однако когда мне предъявили обвинение и я понял, что мне грозит пятнадцать лет тюрьмы, я себя таким уж умником не чувствовал. Родители отказались со мной видеться, но, спрятав гордость в карман, все-таки отправились к зазнайкам-соседям, те прислали своего сына, ушлого адвоката, и он нехотя явился и договорился об уменьшении срока — при условии, если я дам показания против своих бывших соратников, то есть донесу на них. Ной наверняка долго мучился бы, долгими тюремными ночами вел борьбу со своей совестью; для людей попроще, тех, кто знает, что у воров чести нет, вопрос был не этический, а практический. Что хуже — тюремное заключение или жизнь под угрозой смерти? Под этой угрозой все мы ходим, к тому же у меня было преимущество: в отличие от Черити, которую ее убийца застал врасплох, проник в ее гены, как Ли Харви Освальд, я своих врагов знал. Так что я согласился перейти на сторону противника. Этот переход обеспечил мне пять лет вместо пятнадцати и вклад в утробу Фионы. Чтобы я не забывал, что легко отделался, судья счел нужным напомнить, что мне до конца дней

придется жить с оглядкой. Башир — с головы до ног в черном — улыбался улыбкой ангела смерти. Теперь никому не ведомо, умру я в тюрьме или в какой-нибудь палате номер одиннадцать.

Выслушав приговор, Башир поблагодарил судью.

— Я совершил тяжкое преступление, — сказал он, — за которое заплачу лучшими годами своей жизни. Тем не менее я не сожалею о своем выборе. Откажись я от этого плана, я лишился бы своего высшего достижения. Позвольте, я объясню. Вскрывая банковские ячейки, я чувствовал себя Богом: мои фантазии воплощались, можно подумать, я сотворял все, что находил, и каждая ячейка рождала новые идеи, была новым подтверждением моей гениальности. Может, я и безумец, но деньги никогда не были для меня главной целью. Я хотел создать произведение искусства, преступление, которое навсегда останется в людской памяти. И я сделал это. Я совершил la crème de la crime[76]. Больше мне нечего сказать. Теперь ведите меня в узилище, я получил удовлетворение.

— Башир — счастливый человек, — говорю я. —

---

[76] Примечания: 76
Лучшее из преступлений (*фр.*).

Жаль, я не могу сказать того же. — Я пристально смотрю на Ноя. — Судя по твоему виду, тебе тоже не помешало бы его получить, — говорю я.

— Чего? — спрашивает он.

— Удовлетворения, — отвечаю я.

Рози хохочет.

— Папа в расстройстве, — говорит она. — Он об этом не рассказывает, но, по-моему, он влюбился в мою учительницу, красотку мисс Типтри. А теперь мучается ревностью: ходят слухи, будто она беременна. Вроде бы однажды в ее дверь постучался прекрасный незнакомец да навеки остался у нее. Во всяком случае, так говорят. Надеюсь, так оно и есть: романтично-то как!

Я готов был обнять девочку: надо же, столько пережила, а надежды не теряет!

— Не куксись, — говорит она. — Мы принесли тебе подарок. Папа, покажи!

Ной достает фирменный пакет «Мясной империи Макси» и извлекает из него багрово-красный кусок вырезки.

— Это для твоего глаза, — говорит он и показывает на мой свежий фингал.

— Скажи, Ной, чего ты хочешь от жизни? — спрашиваю я и прикладываю мясо к распухшему веку.

— Того же, что и Башир, — отвечает он. — Оставить след, создать хоть что-то совершенное.

Я поворачиваюсь к Рози и понимаю, что он, по всей видимости, добился цели.

Джонатан Уилсон

В свободный день
Пер. Л. Беспалова

Мы садимся на 226-й автобус — он идет от Доллис-Хилл до Голдерс-Грин. Чем дальше, тем дома просторнее и красивее. У Голдерс-Грин пересаживаемся на одноэтажник номер 210-й, едем до Хампстед-Хит[77]. Деннис спрашивает:

— Знаешь, отчего Дейви Крокетт[78], герой фронтира, так метко стрелял?

Я мотаю головой.

— Оттого, что вечно шастал с фронта в тир.

Сойдя с автобуса, мы пересекаем ничейную полосу у Уайтстоунского пруда и углубляемся в дикий фронтир Хампстед-Хит. Не размениваемся ни на кегельбан, ни на кривое зеркало, картингом и тем пренебрегаем. Идем напрямик к Женщине-Крысе. На дворе август 1967-го, и на увеселительной ярмарке еще можно посмотреть

---

[77] Примечания: 77

Хампстед-Хит — лесопарк на северной возвышенной окраине Лондона, там устраиваются праздничные ярмарки с аттракционами.

[78] Примечания: 78

Дейви Крокетт (1786–1836) — герой американского фронтира, т. е. западных границ, освоение которых продолжалось вплоть до 1890 г., меткий стрелок, лихой охотник. Погиб, защищая от мексиканцев крепость Аламо.

на уродов.

У входа в балаган красуется ходячий атавизм, осколок предыдущего десятилетия, остролицый, злобный ферт: волосы зализаны назад, пиджак чуть не до колен, черные брюки-дудочки, заляпанные грязью узконосые сапожки. Он запрашивает с каждого по полкроны. Деннис говорит:

— А ты что, Крысе мужем приходишься?

Ферту вопрос Денниса не нравится. Он что-то вякает насчет того, что он расквасит нам носы. Но с Деннисом шутки плохи, так что мы хохочем ему прямо в рожу и проходим в балаган.

В балагане жарища, от клетки идет такая вонь, что может с ног свалить. Поначалу нам не удается поглядеть на Женщину-Крысу, потому что у клетки сгрудились мужчины (среди них и несколько женщин затесалось), и все рвутся на нее поглазеть. Ага, вот и она, лежит себе, развалясь, в коричневой проволочной клетке, сварганенной, судя по всему, из старых каминных решеток.

— Это что же? Сисек и тех не видно? — говорит, ни к кому, собственно, не обращаясь, старый хрен рядом с нами.

— А ну, закрой хлебало, — подает голос Женщина-Крыса, с подстилки при этом не поднимается.

Она с ног до шеи затянута в трико, выше пояса оно прозрачное, к соскам приклеены клочки коричневого меха. Ниже пояса — у нее искусственная крысиная шкура, к ней прицеплен длинный хвост. Зубы у нее острые и торчат вперед — не иначе как в балаган ее взяли из-за них. Меня не ее хвост завел и не полчища белых и серых крыс, которые по ней ползают, все равно как по канаве, а ее длинные, коричневые, налакированные, прямо-таки ведьмовские ногти.

— Ты только вообрази, как она тебя ими будет драть? — говорю я Деннису и — толк его в бок — показываю на ее ногти.

— Мерзость какая, — говорит Деннис.

Но вот мы у самой клетки, только что не впритык лицом к проволочной сетке. Чувствую, какой-то поганец лезет в мой задний карман, да только денег там нет, так что ему не пофартит.

— Чем могу помочь, джентльмены? — спрашивает Женщина-Крыса и останавливает на нас тяжелый взгляд: дает понять — нечего тут ошиваться.

— Откуси им яйца, — орет какой-то горлодер из толпы позади нас.

Я говорю Женщине-Крысе:

— Хочешь сыру?

— Я тебе такого сыру дам — мало не покажется.

Не дожидаясь, пока я отойду, она загребает горсть крысиного помета с опилками и — шварк мне в лицо. Но попадает не в лицо, а за ухо — я пытался увернуться. В волосах, чувствую, полно катышков.

Мы опускаемся на четвереньки, ползем к стене балагана. Там лежит какой-то паренек — тщится перепилить перочинным ножичком одну из оттяжек.

— Ты что это делаешь? — спрашивает Деннис, хотя и так все ясно.

Парнишка наставляет на нас ножик.

— Полегче, — говорю я (он еще недоросток).

И мы выкатываемся из вонючего балагана прямо в грязь, всю в колеях от фургонов. За нашими головами генератор карусели воет так пронзительно, что, похоже, того и гляди взорвется.

— Увеселительная ярмарка называется. То еще увеселение, — говорит Деннис.

— А что, — говорю я, — разве ты не веселишься?

Мы пробираемся по парку к той части ярмарки, что в низинке. И у Большого Колеса сталкиваемся нос к носу с красивой Крисси Макналли из нашей

школы и ее новым дружком.

— Это Лемберг, — говорит она с подвывом — такой у них в Уэмбли[79] прононс.

Деннис косится на меня. Я знаю, о чем он думает. Последний Криссин дружок Ухарь был законченный байкер: мотоцикл, штормовка, фанат «Ху»[80] — весь набор. Но он умер. Его прикончил героин, который сначала погулял по нашей школе приятным летним ветерком, потом прошелся по ней смерчем. Лембергу этому далеко до нашего Ухаря.

— Хотите посмотреть его мастерскую? — спрашивает Крисси.

Представить нас ему она не считает нужным.

Мы стоим перед огромной картиной — это портрет Лемберга нагишом, и на нем он раза в два больше, чем в жизни, с кистями в руке и гигантским тюбиком краски вместо пениса. Черные каракули в правом нижнем углу возвещают: «Перепашем кости мертвецов».

Лемберг сидит за столом посреди мастерской — скручивает косяк. Ему лет тридцать, если не тридцать пять.

---

[79] Примечания: 79
Северо-западный пригород Лондона.

[80] Примечания: 80
«Ху» — известный ансамбль поп-музыки.

— А это что такое? — спрашивает Деннис, указывая на член. — Не иначе как воображение разыгралось?

— А вот и нет, — вносит ясность Крисси. — У него и впрямь очень большой. А у тебя разве нет?

Лемберг пропускает их разговор мимо ушей, продолжает копаться в мешочке с травкой. Бубнит что-то себе под нос на манер Винни-Пуха:

От стеблей и семян
Никакой дурман.

Мы внимаем всему, что бы Крисси ни сказала: во-первых, из уважения к ее недавней утрате, во-вторых, из-за ее знакомства с Твигги[81]. А у меня есть и третья причина. Вот уже несколько месяцев она — главное лицо во всех моих фантазиях, в них она совсем голая и наяривает не за страх, а за совесть.

Деннис слоняется по мастерской, хватает тюбики с краской — выжмет каплю на руку и оботрет о джинсы.

— Глянь, — говорит он, тыча в свои штаны. —

---

[81] Примечания: 81

Твигги (Хворостинка) — прозвище Лесли Хорнсби, английской манекенщицы, культовой фигуры шестидесятых — начала семидесятых годов.

Вот оно — искусство!

А что, оно и неплохо — в тридцать пять ты художник, живешь в трендовом Хампстеде[82], прямо посреди комнаты у тебя широченная кровать (постель смята, на простыне бурое пятно засохшей крови, и не то чтобы маленькое) и спелая девчонка шестнадцати лет, по которой все мы, а я в особенности, помираем, и к тому же ты еще пишешь себя нагишом.

— Не трогай краски, — говорит Лемберг.

Ага, вот он и заговорил. И знаете что? Он с нами одного поля ягода. Так что у него не особо и повыкамариваешь: он знает, кто мы, а мы знаем, кто он. В Лондоне для этого человеку достаточно открыть рот.

Мы курим травку.

— Домашнего производства, — говорит Лемберг.

— Видели бы вы, как у него там устроено, — поясняет Крисси. — Комната вся, как есть, обтянута фольгой, павильонное освещение — он его в одном театре, который закрылся, раздобыл.

— А вам гашишное масло доводилось пробовать? — спрашивает Лемберг. — Вот этот я

---

[82] Примечания: 82

Хампстед — фешенебельный район на севере Лондона. В XX в. там стали селиться представители богемы.

обмакнул в масло. От него сразу начинаешь глюки ловить.

— Что-что? — спрашивает Деннис. — Уж не хотите ли вы сказать, что от этого зелья следует ожидать галлюцинаций?

— Ожидать-то следует одного, а последовать может совсем другое, вот оно как.

— Весьма глубокомысленно, — ответствует Деннис.

Спустя десять минут Деннис мне говорит:

— Час длинных носков настал.

Он имеет в виду, что настало время, когда наркота пробирается в колени, спускается до икр и давай драть в тех местах, где кончаются носки, если, конечно, ты носишь длинные носки. Лемберг подвалил к Крисси, лезет целоваться. А она лицо его отпихивает, но всем своим видом показывает: «погоди, вот они уйдут, тогда уж...» Ну мы и ушли.

На улице я глянул на волоски на своей руке, обычно их не разглядеть, а тут — на тебе — нива колышется.

— Это масло все увеличивает, — говорит Деннис, когда я описал, что да как. — Она обостряет восприятие.

И пяти минут не прошло, как мне приспичило

водрузить на нашей школе израильский флаг.

Я воображаю — не пропадать же обостренному восприятию, — как над Брондсбери, Куин-парком и Паддингтоном полощется по ветру большущая сине-белая звезда Давида. На прошлой неделе Оуэн (религиозный наставник) отдубасил меня своей «кошерной дубинкой» за разговорчики на уроке. А еще больше я обозлился на Биглхоула: он глумился надо мной в спортивном зале. Я пришел не в черных, как положено, а в красных шортах.

— Вулфсон, — сказал он, — тут тебе не еврейский показ мод.

И такое у нас в школе в порядке вещей (Коэн, стань у мусорного ведра — тебе место среди отбросов), где социально-опасные недоумки из Килберна учатся вместе с еврейским хулиганьем из Уиллесдена и Уэмбли.

Дело за малым: где раздобыть флаг? Деннис — он хоть и сметливый, но непрактичный — с ходу предлагает: надо украсть. Украсть так украсть, вот только где? Мы стоим перед домом с синей табличкой, в нем двести лет назад жил Джон Китс[83].

Деннис говорит:

---

[83] Примечания: 83
Джон Китс (1795–1821) — английский поэт.

— Где ты в последний раз видел израильский флаг? Я имею в виду там, откуда его можно спереть?

В голове что-то брезжит, и я топчусь вокруг да около. Знаю, куда лежит мой путь, но идти туда мне не так чтобы хочется. Тем не менее я говорю:

— В синагоге, на бар мицве твоего двоюродного брата Нормана. Ты что, забыл? Позади него, когда его вызвали поднимать Тору, развернули флаг.

— В чем дело? — орет Деннис, сам он думает, что говорит шепотом.

А я распластался как рыба на блюде на одной створке большого шестиугольного витража — мы ухитрились открыть его, пользуясь длинным шестом. Я вскарабкался по бетонной стене, руки, одежда у меня изгвазданы в краске, она шелушится. Жмусь лицом к рыжей гриве Льва Йегуды. Витраж в металлических переплетах, чувствую я, того и гляди треснет. Я перегнулся пополам, но протиснуться в окно не могу. Я думаю о рычагах, о том, что в физике я ни бум-бум (у меня — 26 %, у лучшего в классе — 97 %; прилежание — С; вывод: ленивый и неспособный), лечу головой вперед и — бах — плюхаюсь на мягкие стулья синагоги.

Нас опередили. В синагоге полный разгром.

Повсюду раскиданы страницы, вырванные из молитвенников, на полу валяются разодранные в клочья талиты. Одна из красных бархатных завес перед ковчегом располосована бритвой, располосованы и пухлые кресла, где восседают попечители синагоги в блестящих цилиндрах и фраках.

Я впускаю Денниса через боковую дверь. Он озирается по сторонам.

— Тут кто-то порезвился всласть, — говорит он. — Флага не видел?

Его бесчувствие ужасает даже меня.

— Дело серьезное, — говорю я.

Мы по-быстрому осматриваем синагогу — в основном они резали и рвали все, что попадется под руку. Черную свастику эта сволота намалевала только на одной из торцовых стен: видно, у них с краской было не густо. И тут нас обоих, причем одновременно, осеняет: если сейчас войдут, нам не миновать долго-долго объяснять, что мы тут ни при чем.

Мы уже собираемся уйти (sans[84] флага), как слышим стон. Доносится он, судя по всему, из-за труб органа. Тяжкий мужской стон. Мы забира-

---

[84] Примечания: 84
Без (*фр.*).

емся на хоры и обнаруживаем там сторожа. Лицо у него побитое, в синяках, под каждой ноздрей полумесяцем — полузасохшая кровь.

— Я пытался их удержать, — говорит он. — Сволочи. Явились из парка. И зачем только такое творить?

Деннис оглядывается вокруг, глаза его вот-вот заполыхают. Я уже такое видел — глаза у него загораются гневом и нетерпением, и это, почти всегда, означает, что сейчас он начнет крушить все подряд.

— Знаешь, где флаг? — спрашивает он.

— Да на черта нам сейчас флаг? — говорю я, еще минута, и мы, как пить дать, сцепимся (в таком случае мне несдобровать).

Некоторое время мы со сторожем прибираемся. Деннис отправляется в подсобку — искать флаг. Я запихиваю разодранные полотнища в ящик под чьим-то креслом. Но мне быстро надоедает прибираться, и я пристраиваюсь на стуле, читаю: «Не пожелай красоты ее в сердце твоем, и да не увлечет она тебя ресницами своими, потому что из-за жены блудной *обнищевают* до куска хлеба»[85]. При чем тут кусок хлеба? Я пытаюсь

---

[85] Примечания: 85
Притчи Соломона 6:25–26.

представить себе ресницы Крисси Макналли, но у меня ничего не получается. Брови, да, средней густоты, светлые. Значит, у нее светлые волосы повсюду? Не исключено.

Сторож говорит, что пойдет звонить в полицию. Тут появляется Деннис с флагом (я рассчитывал, что флаг будет побольше). Деннис уже прикрепил его к древку. Я спрашиваю сторожа:

— Мы хотим ненадолго позаимствовать ваш флаг — вы не против?

Он пожимает плечами, как бы говоря: «Какое это теперь имеет значение?»

За синагогой простираются поля Гладстон-парка. Мы разворачиваем флаг и припускаемся бежать — флаг развевается позади как средневековая хоругвь. За нами увязывается пара-тройка бродячих собак; Деннис их отгоняет — изловчается пнуть прямо в пасть. Дети качаются на качелях, выстраиваются в очередь к каменному фонтану. Вдали, за грязноватым прудиком, где плавают утки, над плакучими ивами, над тонкими серебристыми верхушками берез изгибается радуга. По-видимому, пока мы были в синагоге, прошел дождь. К нам подкатывается крохотная девчушка. Она говорит:

— А я знаю, как собачки разговаривают.

Раз-другой тявкает, потом рычит и под конец громко лает.

Мы долго ждем автобуса у здания электрической компании на Уиллисден-лейн. Из-за флага нас не впускают в автобус. Там — контролер.

— Что, если автобус вдруг остановится? — говорит он. — Не ровен час — проткнете кому-нибудь легкое.

Кондуктор добавляет:

— Вернее, вгоните пассажиру кол в сердце.

Деннис говорит:

— Или воткнем копье вам в задницу.

И мы идем пешком.

По дороге я пытаюсь завести с Деннисом разговор о чем-нибудь существенном. Я вот что хочу понять: чего ради красотке шестнадцати лет предаваться телом и не исключено, что и душой, такому типу, как Лемберг? Что ему от нее нужно, ясно как день: он хочет задушить ее в своих объятьях. Ну а Крисси-то что нужно?

Конечно же у меня тут особый интерес. Как только кончился траур по Ухарю («Перепашем кости мертвецов»), мне довелось разок станцевать с Крисси медленный танец в «Звездочке», танцзале, что в Гринфорде. На ней была черная мини-юбочка и полупрозрачная розовая блузоч-

ка, сквозь нее просвечивал «лифчик-безлифчик» — так поименовала эту штуку Крисси. С одной стороны, она казалась неосязаемой, как розовый туман, с другой — на весь вечер оставила свой след на мне, все равно как на песке.

Я поднял эту тему в разговоре с Деннисом, но быстро смекнул, что его нисколько не интересует, отчего да почему что происходит. Он сразу переходит к делу и берет быка за рога. Будничность — вот тот надежный канат, по которому он предпочитает карабкаться наверх. Скажи я сейчас, а меня так и тянет сказать: «Расхотелось мне вывешивать флаг, за этот день случилось много такого, что я еще не успел переварить», он бы на меня наехал.

Как-то Деннис принес в школу топор. И на большой перемене изрубил свою парту на куски. Поначалу я решил, что это выпад как выпад, пусть он и хватил через край, против храма науки. А потом понял: он пытался пробить закованное льдом море внутри себя. Мы рассовали куски досок по сумкам, смотались с уроков и повышвыривали их один за другим на платформы закрытых станций метро «Куинзбери» и «Кэнонз-парк», северного конца старой линии Бейкерлу.

Но неужели мне и впрямь нужно вот это

вот? Вандализм и авантюры? Все лето меня не покидала мысль, как бы переменить жизнь, переключиться. Увлечения у меня возникали и сникали так же неожиданно, как эрекция у подростка, и все соответственно опять же сводилось к твердости и мягкости. Первая — воплощением ее был Деннис — меня отпугивала, в общем и целом по темпераменту и нраву мне ближе вторая. В душе я хочу окружить девушку, ну да, Крисси Макналли, самыми затасканными и избитыми атрибутами любви.

Нет, нет, поймите меня правильно, я видел то бурое пятно на кровати Лемберга, знаю все о коварстве плоти. Более того, мои познания в этой области целиком почерпнуты из непристойных шуток, скверного качества фотографий в журнальчиках, что валяются в парикмахерских, и убогих граффити. В прошлом году, желая что-то противопоставить пошлости, к которой я все больше склонялся, отец в пятницу вечером потащил меня в маленькую сефардскую синагогу в лондонском Ист-Энде. Хотел, чтобы я послушал, как хор стариков поет Песнь песней (я, естественно, переиначил это в «Пенис пенисов»). Но хотя я слушал и учил про лисенят и про груди, как молодые серны, пасущиеся между лилий, и

про то, как важно с медом моим есть соты мои, понятием о возвышенной любви я не проникся. А теперь, когда я вышагиваю по Солсбери-роуд с этим дурацким флагом, бледные лучи солнца заботы и любви, таившегося весь сезон, начинают пробивать окутавшие меня густые тучи грубости и похоти.

И я наконец понял, что мне нужна не так Женщина-Крыса, как Женщина-Крисси. Постель Лемберга напомнила мне, что одно с другим взаимосвязано, но я принимаю решение подойти к этому гибриду не с подростковым нахрапом, а поэтически. И, вступая на путь к «мягкости», говорю Деннису:

— Знаешь, мимо чьего дома мы прошли там, в Хампстеде?

— Нет.

— Китса.

— На черта мне это знать?

Собственно, ничего другого я и не ожидал, но то, что я об этом заговорил, само по себе знаменует новый этап.

Мы подходим к школе. Дело идет к вечеру. Неугомонное солнце жарит вовсю — оживляет пейзаж. У Денниса рыжие волосы, цветом в солнце, это меня угнетает, и я говорю:

— Почему бы тебе не поднять флаг самому?

— Ты что? — вскидывается он. — Для чего же мы перли черт-те откуда?

И давай меня заводить — напоминать о разных гадостях, которые чинили против нас учителя.

— Вспомни, как Фанни в пятницу не захотела освободить Слесса от уроков пораньше? А как Фогуэлл отшвырнул тебя к стене, когда прочел записку от твоего отца с просьбой отпустить тебя для подготовки к бар мицве?

Примеры небольно убедительные, и Деннис сам это знает. Плевал он на то, что Слессу, вместо того чтобы сесть на автобус, пришлось топать километров восемь до своего ортодоксального дома. А когда я шмякнулся о стену, он смеялся заодно со всем классом.

— Нет, — говорю я. — Иди туда сам. С меня хватит.

Деннис тут же приступает к делу… А я — недолго — смотрю на себя со стороны, все равно как на природное явление. Тайный голос нашептывает: «Настоящий мужчина действует решительно и без промедления: он должен показать своему напарнику, что тот трус».

Деннис перекидывает флаг через забор и перемахивает через него сам. Я так понимаю, что

ему надо залезть на крышу спортзала, а на это требуется время, затем пробраться к зубчатой башне, на которой укреплен флагшток. Так что минут двадцать у меня есть.

Я иду в Куинз-парк, направляюсь к эстраде. Решаю отыскать там местечко в тени, растянуться, поразмышлять. В парке ни души, что довольно неожиданно: день-то сегодня нерабочий. И тут мне становится ясно, в чем закавыка. Около игровой площадки сгрудилось человек двадцать парней. В руках у них мотоциклетные цепи, украденные из сарая клюшки для гольфа, длинные палки. Они навалились на меня прежде, чем я успел смекнуть, что надо бы дать деру. Среди них два-три психа из соседней школы, я их узнал.

Поначалу мне кажется, что это они такую игру затеяли. Один из них homo Kilburnus stupidens[86] говорит:

— Я думал, евреям в этот парк вход воспрещен.

А его приятель, их вожак, паренек с обманчиво простодушной россыпью летних веснушек на лице и вытатуированным на голой груди павлином подтверждает:

— Ясное дело, воспрещен.

---

[86] Примечания: 86
Человек килбурнский глупый (*лат.*).

— В таком разе, что он здесь делает? Ты ведь еврей. Ты — вонючий еврей, так или не так?

Я говорю:

— Так.

И не потому, что я такой храбрый и не из вызова, а просто потому, что скажи я хоть «Прекрасное пленяет навсегда»[87], хоть «Пошел ты, я — епископального вероисповедания», последствия будут те же.

Только не думайте, что я не трушу, держусь молодцом, чего нет, того нет. Я трясусь, обливаюсь потом, съеживаюсь в ожидании удара. Происходит некоторая заминка: Веснушки рыцарственно вызывает меня на бой. Я говорю: «Благодарствую, нет». Тогда он засаживает мне в лицо медным кастетом. У меня хватает ума упасть и прикрыть голову руками. Пинки, болезненные, сильные, сыплются по почкам, один приходится по голове — уж не сломали ли мне пальцы? Я молю Бога, чтобы они не взялись за клюшки с железными головками. Кричу, задыхаюсь, истекаю кровью. На какой-то миг мне кажется, что они отстали, я захожусь кашлем — при каждом вздохе в горле что-то клокочет и булькает. Но им этого мало.

---

[87] Примечания: 87

Д. Китс, «Эндимион». Пер. Б. Пастернака.

Двое растягивают мои руки в стороны, третий прижимает что-то к спине. Нож! Я воплю что есть мочи. Они смеются. Гады, все до одного покатываются со смеху. Кто-то говорит:

— А теперь вали отсюда.

Я бегу, из носа у меня капают кровь и сопли. Нож в спину мне, похоже, не засадили. Я ощупываю спину — ничего не чувствую. Добегаю до питьевого фонтанчика и пью, пью, пью. Стаскиваю майку, чтобы утереться, и тут вижу, в чем было дело. На белом поле написано ЖИТ; Т вместо Д, это что — издевка или просто безграмотность? Я натягиваю вымокшую майку. Теплынь такая, что можно бы обойтись и без майки, но меня оголили, и мне хочется прикрыться.

В тени серой шиферной крыши спит мой телохранитель. Израильский флаг — я-то воображал, что он будет триумфально виться по ветру, блистательным островком сопротивления посреди моря вражды, — поник в безветрии рано наступивших сумерек. Как мне ни хочется, обвинить Денниса в том, что со мной стряслось, я не могу. Нас вышвыривают в этот несущийся неведомо куда мир совершенно беззащитными, и нам остается только принимать удары, когда они на нас обрушатся. А они уж точно обрушатся.

Я пытаюсь осмыслить произошедшее, и, пока иду к автобусной остановке, мне это более или менее удается. Меня корежит от злости и беспомощности, что да, то да. Какое-то время я пытаюсь посмотреть на то, через что мне пришлось пройти, с точки зрения раненого воина. Говорю себе: не так уж это страшно — после футбольного матча тоже выходишь избитый и измочаленный, большой разницы здесь нет. Но тут же дают знать о себе почки, саднят распухшие губы. И вдруг из глаз — надо же — градом льются слезы. Боль ничего не возмещает. В ней обида, уязвленность и ничего больше, и, когда им тебя донять и пронять, они выбирают сами. К Лембергу я возвращаюсь уже затемно, так как не сразу вспоминаю, где он живет. На иссиня-черном небе отпечатались грузные облака, тепло ушло вместе с солнцем. Дверь открывает Крисси, при этом она не выказывает никакого удивления, только спрашивает: «Подрался?» За ее плечом я вижу Лемберга за работой. Он дает указания нагой натуре — тощей девице с длинными черными волосами и коническими, как солонки, грудями. По-видимому, собирается ее писать. Когда я прохожу в дверь, девица принимает позу, Лемберг подходит к ней, передвигает ее руки-ноги.

Крисси ведет меня мимо художника за работой. В той части мастерской, что служит кухней, над столом висит яркая лампочка без абажура. А я хочу туда, где темь. И надо бы как-то дать им это понять, потому что Крисси после того, как я смыл с лица засохшую кровь и осмотрел ссадины на лбу и щеках, возьми да и скажи:

— Хочешь смотаться в киношку?

В хампстедском «Эвримене» мне бы, наверное, перепало часа полтора подержать ее за руку, но все равно я с ней не пошел.

Из Шанхая
Пер. Л. Беспалова

Извещение попало на стол к отцу в первую неделю сентября 1955-го, прочитал он его лишь неделю спустя. Отец был в отъезде — улаживал спор из-за кладбищенских участков в Манчестере. В его обязанности общинного миротворца, своего рода Красного Адэра[88], призванного гасить вспышки англо-еврейских междоусобиц, входило колесить по стране, умилостивляя раввинов и унимая их порой весьма строптивых прихожан. И только вернувшись в свой кабинет на Тависток-сквер, он узнал, что в лондонских доках лежит посылка на его имя. Извещение пришло из Отдела по делам беженцев, организации практически свернувшей свою деятельность, и он никак не был с ней связан. Что такое они могли ему послать и зачем?

В обеденный перерыв отец доехал до Тильбюри и явился на речную верфь, где неповоротли-

---

[88] Примечания: 88

Красным Адэром прозвали Пола Адэра, известного специалиста по предотвращению катастроф, в частности — тушению пожаров на нефтяных месторождениях.

вые грузовые суда выстраивались в очередь к высящимся над ними кранам. Он долго искал нужную контору, еще дольше место, где хранились посылки. Впрочем, отец, привычный к бюрократической волоките, с чиновниками был неизменно терпелив и, пока они изучали и штемпелевали принесенные им бумаги, вел с ними любезную беседу.

На складе, однако, ему выдали не пакет в оберточной бумаге — как он рассчитывал, — а два огромных ящика, их свалил к его ногам автопогрузчик.

— Что в них? — спросил отец.

— Почем мне знать. Прибыли морем из Шанхая.

— Понятно, — сказал отец в полном недоумении.

После обычных проволочек и разговора на повышенных тонах принесли лом, и отец — помогать, как водитель ни противился, пришлось ему же — отодрал одну из деревянных планок на боку ящика. Водитель — у него пробудилось любопытство — надорвал тонкую бумажную обертку.

— Вроде бы книжки, — сказал он.

— Книжки?

— Книжки, книжки.

— Но кто их прислал?

Они обследовали ящик; на накладной стояло — П.О.[89] 1308 Шанхай.

— Работать пора, — объявил водитель, сел в свой автопогрузчик и завел мотор.

Отец просунул руку в ящик, вытащил оттуда книгу. Это был немецкий перевод «Избранных сказок» Ханса Андерсена в прочном переплете синего коленкора. Отец вынул другую книгу, она была на непонятном ему языке — японском или китайском. Третья книга опять же оказалась «Волшебными сказками», на этот раз на английском. Отец извлек еще пять разных изданий «Волшебных сказок» Ханса Андерсена в переводе на английский. Снова взял издание на неведомом восточном языке и перелистал книгу. Так и есть, иллюстрации говорили сами за себя: утенок, соловей, три собаки с огромными, как блюдца, глазищами.

Ящики продолжали прибывать еще несколько месяцев — и в каждом очередное дополнение андерсеновской коллекции. Отец договорился, чтобы книги хранили на складе по соседству с

---

[89] Примечания: 89
Почтовое отделение.

доками. Сказать, что мать была недовольна лишними расходами, на которые обрекло нашу семью хранение свалившихся невесть откуда книг, значит, ничего не сказать. Как-никак мы только-только освободились от скудного военного рационирования, и мама в первую очередь хотела набить кладовку продуктами, а не оплачивать неизвестно кем присланный непрошеный груз. Отец же с обычной для него беспечностью вел себя так, словно всех нас перенесли в сказку. И на нас неведомо откуда свалился дар. Как знать, какие колдовские события за этим воспоследуют?

К концу года на складе скопилось тысяч двадцать книг. Как-то утром, когда от синего неба особо веяло холодом, отец взял меня с собой на склад, посмотреть на ящики. Путешествие к пирамидам — вот что это было такое. Я пробирался по сумрачным проходам между поставленными по три друг на друга ящиками с такой опаской, будто в них таилась загадочная древняя сила. Что же такое свалилось на нас? Отец, разумеется, написал на адрес, указанный на ящиках, но ответа до сих пор не получил.

Мы уходили все дальше от доков, суда все уменьшались, и вот они уже казались ярмарочными бирюльками, которые ничего не стоит

поднять игрушечному подъемному крану. Я задал отцу тот же вопрос, который задавала ему мама, когда ее терпение истощалось: почему бы нам не продать эти книги?

— Потому что они не наши, а раз так, продать их нельзя, — ответил отец.

Дело было в воскресенье, и нас обоих — единственный раз в неделю — не отягощал двойной груз работы (домашних заданий в моем случае) и синагоги. Мы прошлись пешком до Тауэрского моста. На верфи сгрудилась кучка людей. Неподалеку было пришвартовано пестро раскрашенное суденышко под названием «Верткий малый»[90].

Коренастый бритоголовый крепыш с уродливой татуировкой на предплечье — голая женщина, опутанная колючей проволокой, — пустил по рукам толстые цепи: пусть зрители их осмотрят. Затем незамедлительно обвязал себя цепями. Отцу — похоже, его это зрелище заворожило чуть не больше всех — доверили повернуть в массивном замке, который должен был воспрепятствовать нашему не знающему преград циркачу высвободиться, ключ и спрятать его в карман. После

[90] Примечания: 90

Прозвище Джека Даукинса, молодого вора, невероятного ловкача, персонажа романа Ч. Диккенса «Приключения Оливера Твиста». В переводе А.Кривцовой он назван «Ловким плутом».

чего Верткий Малый попросил отца заткнуть ему рот кляпом. Затем одна смешливая зрительница помогла Верткому Малому залезть в джутовый мешок, лежавший рядом на каменных плитах. Справившись с этой задачей, зрительница сделала знак рукой своим приятелям и не без шика затянула веревку на горловине мешка.

Позади мешка торопливо катила свои воды черная Темза. Два привлекших мое внимание быстроходных ялика, из тех, что воскресным утром бороздят Темзу, заслонил ползущий с пыхтением буксир. К тому времени, когда ялики показались из-за буксира, наш узник уже был на свободе. Меня это ничуть не удивило. Трюк этот был мне известен. Я много чего узнал о Гудини[91] из книги, взятой в школьной библиотеке. Наш герой, как я понимаю, перед представлением проглотил дубликат ключа, а когда мешок завязали, выхаркнул его. Все так, тем не менее я, сам того не ожидая, был потрясен. Спастись — каким бы путем ты ни спасся — уже триумф!

А весной из Шанхая приехал дядя Хьюго. Строго говоря, он не был моим дядей, отцу он приходился двоюродным братом. С ним приехала жена Лотте,

---

[91] Примечания: 91

Гарри Гудини (1874–1926) — американский иллюзионист, показывал трюки с высвобождением из оков и т. п.

у них не было ничего, кроме того, что на них. В марте в кабинет отца вошел незнакомый человек и предъявил свои права на книги Андерсена и на родство, это и был Хьюго.

Отец пригласил Хьюго пообедать с ним, а именно повел его в ближайший парк, усадил на скамейку и поделился с ним бутербродами. Стояла такая переменчивая весенняя погода, когда на солнце уже тепло, а в тени все еще холодно. Пока они сидели бок о бок, задрав лица к еле различимой на небе монете, Хьюго рассказал свою историю. В 1938-м Хьюго выгнали из его дома в австрийском Бургенланде. Он — и таких, как он, было много, — очертя голову, бежал в Шанхай, единственный город в мире, куда можно было попасть без визы и где был международный сеттльмент. Один его друг — не еврей — филателист Артур Джелинек переправил книги Андерсена в Китай: Хьюго оставил ему на это деньги. В Шанхае Хьюго прожил пятнадцать лет, работал лаборантом при больнице. По профессии он был биологом и к этому времени уже издал ботаническую монографию о грибах; но по призванию — библиофилом. В Австрии благодаря крохоборству, упорству и сметливости ему до войны удалось собрать, как он полагал, вторую

по величине коллекцию книг Ханса Андерсена в мире, больше ее была лишь коллекция датской королевской семьи.

Отец выслушал Хьюго. За последние десять лет в лондонской еврейской общине разошлось бесчисленное множество беженских историй: большинство беженцев рассказывали о страшных испытаниях, кое-кто о не таких уж страшных. Хьюго бежал довольно рано. Ему повезло. Жизнь ему конечно же поломали, зато он остался жив, добрался до Лондона, спас свою коллекцию.

— Но как ты меня нашел? — спросил отец.

— Твой двоюродный брат Мики, ну тот, который…

Отец кивнул, не дав Хьюго закончить. Он уже знал все про Мики и не хотел снова слушать его историю во всех мучительных подробностях.

— Так вот, — продолжал Хьюго, — до того, то есть за несколько месяцев до того, как Мики забрали, — я тогда решил, что надо уехать, — он рассказал мне о тебе. Сказал, что ты работаешь в еврейской организации. Адрес твоей организации я отыскал уже в Шанхае.

— Но почему, — спросил отец, — почему ты не отвечал на мои письма?

— Артрит, — ответил Хьюго и протянул к отцу

корявые пальцы. — Не могу удержать ручку.

— Тогда почему… — Отец запнулся.

Порой, сказал мне позже отец, что бы ни заставляло человека оправдываться, его слова приходится принимать на веру.

Хьюго познакомился с Лотте в Шанхае. Как и Хьюго, Лотте бежала из захваченной Гитлером Европы. Но, в отличие от Хьюго, в ней ключом били жизнь и веселье. Объяснялось это отчасти тем, что Лотте была на двадцать лет моложе Хьюго. И хотя Хьюго едва перевалило за пятьдесят, из-за копны снежно-белых волос и изрезанного глубокими морщинами лица он представлялся мне стариком. А вот Лотте, та меня очаровала. По субботам она, как правило, являлась к нам на ужин в палантине из черно-бурых лис (одолженном на вечер у соседки), курила одну за другой вставленные в длинный мундштук сигареты. Она любила петь и после ужина обычно призывала отца сесть за пианино в столовой. Отец аккомпанировал ей, а она с большим подъемом пела хриплым голосом немецкие песни, смысла их я не понимал, а моя мать и Хьюго, судя по всему, их не одобряли. Я старался расположиться поближе к Лотте, вдыхал как можно глубже тяжелый, густой аромат духов, окутывавший ее облаком.

В войну семья Лотте чудом уцелела, и теперь ее раскидало по свету. Родителей вместе с сестрой Грете забросило в Америку; одного из ее братьев — в Буэнос-Айрес, другого — в Израиль. Иногда Лотте приносила только что полученные открытки и письма, и мы, удалившись на кухню, отпаривали марки и размещали их строго по порядку в моем альбоме. Казалось бы, занятия такого рода больше по части Хьюго, но он мной не только не интересовался, а пожалуй, даже сторонился меня, пока я не получил от отца подарок.

Два раза в неделю отец посещал классы живописи по Образовательной программе для взрослых в Школе искусств святого Мартина. В семье картины отца были предметом насмешек. Чаще всего он писал нагую натуру. Скудного воображения его преподавателя хватало всего на две позы. В первой он, не мудрствуя лукаво, усаживал натурщиц на стул с высокой спинкой как можно более прямо, во второй — «чувственной» — заставлял их зазывно раскинуться на крытом бархатом шезлонге. Отец, поклонник Матисса, но не Бог весть какой колорист, приносил домой диковатые бурые фигуры, причудливо изогнувшиеся — порой вопреки замыслу отца — в экспрессионистских позах. Картины он ставил

у стены в холле. Мы с братом покатывались со смеху. Мама — она в это время готовила ужин — едва удостаивала картины отца взглядом. Мы не знали жалости, но отец — надо отдать ему должное — на нас не обижался. Два вечера в неделю ему, по-видимому, хотелось играть роль не замороченного общинного администратора, а художника-одиночки, противостоящего враждебному, филистерскому миру.

Как знать, не из стремления ли самому утвердиться в двойственности своей натуры, а возможно, из желания, вполне вероятно, что и подсознательного, освятить сотворенные его кистью идолы, отец метил свои картины в правом нижнем углу ивритскими буквами: змеевидным ламедом и квадратообразным вавом — им надлежало олицетворять художника Лесли Виссера.

После приезда Хьюго и Лотте я стал замечать нечто новое в картинах Ламеда Вава (такую кличку мы с братом образовали из его инициалов). Не исключено, что я ошибался, но в чертах натурщиц я находил все больше сходства с Лотте — тот же пухлый рот, те же, ни на чьи не похожие зеленые глаза. Но чей полет воображения был тому причиной — мой или Ламеда Вава, — я так и не уяснил.

У моего отца в том классе завелся приятель по имени Джо Клайн — он торговал книгами издательства «Эр и Споттизвуд»[92]. И вот как-то вечером отец принес домой картонную коробку, в которую были упакованы четыре книги.

— Как, еще? — спросила мама: книги в переплетах были у нее под подозрением. Мы по-прежнему платили за хранение андерсеновской коллекции в ожидании, пока Хьюго и Лотте «встанут на ноги».

— Это подарок от Джо, — парировал отец. — Книги распродали, переиздавать их не будут, это остатки тиража, но книги в отличном состоянии. Правда же, очень мило со стороны Джо. По книге на каждого члена нашей семьи, включая тебя.

В коробке для мамы нашелся роман, для брата руководство по безопасному проведению химических опытов на дому, а для меня — вот те на! — новехонькое, отлично иллюстрированное издание «Избранных сказок» Ханса Андерсена.

— Только этого не хватало. — Мама скривилась.

Мне минуло двенадцать — многовато для Андерсена, подумал я, — тем не менее его сказки,

---

[92] Примечания: 92

«Эр и Споттизвуд» — филиал издательства «Кембридж юниверсити пресс», выпускает преимущественно религиозную литературу.

хоть я это и скрывал, мне по-прежнему нравились, и вскоре я повадился пялиться на одну довольно откровенную иллюстрацию. На ней прекрасная принцесса из сказки «Огниво» спала на спине огромной собаки, глубокий вырез платья обнажал ложбинку между несоразмерно пышными грудями, которыми решил наделить ее иллюстратор. Эта цветная иллюстрация вплелась в мечты об Ивлин, четырнадцатилетней девчонке, чье окно было прямо напротив моего, причем разделяли нас всего два газончика размером не больше почтовой марки, примыкающие к нашим домам. Не так давно я открутил круглое зеркальце от моего велосипеда, прикрепил его к длинной палке, а палку привязал к спинке кровати. Это устройство позволяло мне, ничем себя не выдавая, наблюдать за тем, как Ивлин Бун раздевается у себя в спальне. Но — вот незадача — Ивлин предпринимала предосторожности, принятые в нашей жившей довольно обособленно округе, и перед тем, как раздеться, практически всегда задергивала занавески. Так что, несмотря на волшебное зеркало, я мог увидеть не больше того, что подарило мне воображение иллюстратора «Эр и Споттизвуд», залетевшее куда-то не туда.

Стоило дяде Хьюго увидеть эту книгу, как ему

загорелось ее заполучить. В необъятном мире страстей алчность коллекционера практически не имеет себе равных. Хьюго, до того дальний, вполне безразличный ко мне родственник, преобразился в душку-затейника, друга-приятеля. Сказать, что я был невосприимчив к соблазнам, которыми норовили подкупить меня взрослые, нельзя, нельзя и сказать, что я не поддался бы на уговоры, когда мой отец (мягкий, снисходительный отец!) счел своим долгом включиться в осаду и убедить меня отдать книгу Хьюго. Я бы, пожалуй, и уступил, не проси Хьюго то, что, как ни дико, стало частью моей замысловатой эротической жизни, вот почему я никак не мог пойти ему навстречу. Лотте, а она почуяла, что отказ продиктован не только упрямством и своенравием, приняла мою сторону.

— У тебя что — мало книг? — вопрошала она мужа. — Так ты еще хочешь ребенка ограбить?

— Какой же это грабеж? — вклинивался отец. — Взамен Хьюго предлагает Майклу в высшей степени редкое и ценное первое издание. Собственно говоря, это сделка. Обмен, и Майкл будет не внакладе.

Они наседали на меня месяц кряду, но я стоял на своем.

— Почему бы ему не купить эту книгу у кого-то другого, если уж она ему до зарезу нужна? — воззвал я к отцу, после того как Хьюго от нас ушел.

— Да потому, что ее нет в продаже, а из библиотеки Хьюго красть не станет. Сверх того, книги стоят дорого, а сейчас Хьюго и Лотте приходится экономить. Ты еще мал, тебе этого не понять. Джо Клайн сказал мне, что книгу издали тиражом в тысячу экземпляров. И раскупали ее плохо. Уж очень большая конкуренция. Стоит книга не так много, но Хьюго, как бы он ни старался, разыскать ее вряд ли удастся. Для тебя она не имеет никакой ценности, Хьюго же, напротив, пополнил бы свою коллекцию, а для него это много значит. До тебя дошло, что Хьюго предлагает тебе взамен? Ты мог бы получить книгу ценой — шутка ли сказать — в пятьдесят фунтов.

Отказаться от груди Ивлин Бун за пятьдесят фунтов? Потому что, да, да, я уже не отличал только что начавшие наливаться бугорки Ивлин от куда более развитых форм на той иллюстрации. Не может быть и речи!

Из соображений семейно-охранительных (возможно, мама тоже заметила, что лица нагих натурщиц приобрели сходство с Лотте) Вассерманов с середины лета стали приглашать не на

субботние ужины, а на воскресные обеды. Хьюго и Лотте купили в рассрочку машину, допотопный «сингер», у которого на спидометре было больше ста тысяч километров. В этом почтенном драндулете Хьюго восседал за рулем, а Лотте подавала сигналы вручную, потому что левый поворотник вышел из строя, и таким образом они в час по чайной ложке, с крайней осторожностью что ни уик-энд преодолевали расстояние до нашего дома. Когда их машина сворачивала к обочине, отец выглядывал из окна и говорил: «Драндулет — сто лет в обед».

К этому времени Хьюго стал полноправным членом «Ватрушкина клуба» — так мой отец прозвал это сообщество. «Ватрушкин клуб» уже насчитывал четырех членов, это были отцы семейств из окрестных домов — они собирались каждую неделю, неумеренно восторгались кулинарным искусством мамы и обсуждали текущую политику. Один из них, Сидни Оберман, всякий раз приходил с пачкой газет под мышкой. В его обязанности входило выбрать и отчеркнуть в газетах статью с темой для дискуссии. Члены сообщества преклонялись перед Уинстоном

Черчиллем, покойным Хаимом Вейцманом[93] и Армандом Калиновски, евреем, блестящим участником популярной радио-дискуссии «Мозговой трест»[94]. В знак уважения к этим незримым менторам члены клуба щеголяли в галстуках-бабочках, символе хорошего тона и возвышенности мысли.

Месяца через полтора после того, как Хьюго в первый раз взял в руки мою книгу, чтобы рассмотреть и трезво оценить ее, Вассерманы прибыли к нам, как водится, опоздав к чаю, и, как водится, в разгар ссоры. Причиной их ссор неизменно была коллекция. Вассерманы перебивались с куска на кусок. Ютились в двухкомнатной квартирке на Уиллесден-Грин. Хьюго искал работу в лаборатории, но возможных нанимателей, как он считал, отвращал его сильный немецкий акцент. Скудные средства их складывались из платы за уроки игры на пианино, которые Лотте давала окрестным ребятам у них на дому, и из сдельных работ (консультаций по грибкам и противогрибковым

[93] Примечания: 93

Хаим Вейцман (1874–1952) — один из лидеров сионизма, президент Государства Израиль с 1948 г.

[94] Примечания: 94

«Мозговой трест» — программа Би-би-си, в которой видные политические деятели и специалисты отвечали на вопросы радиослушателей.

средствам), которые Хьюго выполнял в качестве помощника местного ландшафтного дизайнера. Лотте уверяла, что, если бы Хьюго продал книги, они купались бы в роскоши. И напротив, если он только попробует распаковать ящики с книгами в ее доме, ему не миновать искать себе другую жену.

Презрение Лотте к Хансу Кристиану Андерсену и его сочинениям не имело границ. Волшебные сказки! Чушь какая! Сочинения Гете или Толстого — это еще куда ни шло, это она могла бы понять, хотя в их сегодняшнем стесненном положении она бы считала, что и их надо продать. Но взрослый человек, портящий зрение, разбирая «Новое платье короля» на двадцати языках! Как можно растрачивать себя попусту!

При этих словах Хьюго вспыхивал и озирался по сторонам: не слушаем ли их мы с братом. Когда наши взгляды встречались, мы делали вид, что витаем где-то далеко и вдобавок тугоухи. Но тут они дошли в споре до точки прямо перед нашей дверью, и, открывая им, я услышал:

— Ты что, хочешь, чтобы мы всю жизнь прозябали в нищете?

— А ты только о деньгах и думаешь? — Это были последние бессильные выпады, удары боксера, у

которого руки обмякли, а ноги подкашиваются.

Лотте нетвердой походкой направилась в кухню.

— Воды хочу, — сказала она.

Хьюго аккуратно снял пиджак и стал искать в коридорном шкафу вешалку. Уж не стояли ли в его глазах слезы? Кто знает, и тем не менее — чего не ожидал, того не ожидал — меня пронзила жалость. Что тому причиной — вид крайнего изнеможения (он так выглядел давно, но это как-то проходило мимо меня), а может быть, всего-навсего то, что он в первый раз с тех пор, как началось мое с ним противоборство, не сказал: «Ну, так ты уже даешь согласие?» Но что бы ни было причиной, я, пока Хьюго вешал пиджак, околачивался в коридоре, а потом сказал: «Меняюсь».

Церемония обмена отодвинулась на две недели с гаком. Близилась середина августа — в эту пору мы ежегодно уезжали отдыхать. Обычно родители загодя заказывали места в каком-нибудь тихом, приличном пансионе в Маргите, Суониджe или Саутборне, договорившись заранее, что нам будет обеспечен вегетарианский стол, предупредив и преодолев таким образом сложности, которые могли бы возникнуть из-за

кашрута. И, уютно устроившись в нашем стареньком «форде-перфекте», мы отправлялись в путь. Проехав километров сто, настоявшись в пробках, намаявшись тошнотой, передравшись на заднем сиденье, мы поселялись в чужом доме, мало чем отличавшемся от нашего, где нам оставалось только читать, не выходя из комнаты, пока дождь лил как из ведра, играть в детский гольф под моросящим дождичком, а в те три-четыре теплых дня, которые соблаговолила отпустить нам природа, плавать, дрожмя дрожа, в холоднющем море.

В этот год, однако, все было иначе. Мы сняли рыбацкий домик на берегу в Фолкстоне. Ветер гнал высоченные волны, они с грохотом разбивались о подпорную стену позади нашего домика. По ночам спальня казалась мне корабельной каютой, которую летние ветра швыряют то вверх, то вниз. По утрам мы с братом обследовали дюны неподалеку от места, куда причаливал паром из Булони. В песчаных холмах и горках там и сям еще попадались бетонные доты. Мы забирались внутрь их сухих отсеков и выглядывали в узкие амбразуры: изображали артиллеристов, следящих, не приближаются ли немецкие самолеты.

На исходе первой недели отцу внезапно по

неведомой нам причине пришлось вернуться в Лондон. Мы знали только, что ему позвонила Лотте, она была крайне взбудоражена. Отец то и дело перешептывался с мамой. Но после того как он уехал, мама сообщила, что у Лотте и Хьюго неприятности, нет, нет, не медицинского свойства, но вполне серьезные, им нужна помощь, и поэтому отцу пришлось на пару дней вернуться в Лондон, ничего больше, уверяла мама, отец ей не сказал.

После отъезда отца зарядил дождь и лил все три дня, пока отец отсутствовал. Мы совершили экскурсию в магазин, где демонстрировали, как готовятся ириски, сходили в кино на «Придворного шута» с Дэнни Кеем[95] в главной роли, посетили смотр детских талантов в местной ратуше.

Отец вернулся поздним вечером, взбудораженный, смятенный. По правде говоря, он так волновался, что мне представилось всего на миг, не больше — эк меня занесло, — что… нет, нет, это немыслимо.

Датский принц, как нам впоследствии стало

---

[95] Примечания: 95

Дэнни Кей (наст. имя Дэвид Дэниэл Камински) — американский комедийный актер, эстрадный певец. В авантюрной комедии «Придворный шут» (1956) играл роль лакея, возглавившего крестьянское восстание.

известно, отправил к Хьюго посланца. Библиотекарь королевской семьи хотел ознакомиться с коллекцией Хьюго. Копенгаген и впрямь проявил серьезную заинтересованность. Если Хьюго не хочет продать коллекцию целиком, не согласится ли он продать ее по частям?

Лотте попросила отца помочь ей убедить Хьюго, что такая удача выпадает лишь раз в жизни. Они смогут разом избавиться и от убогой квартирки, и от бесперспективных работ. Смогут переехать в Голдерс-Грин, да что там Голдерс-Грин, выше держи — в Хэмпстед! А если уж Хьюго без его «конька» жизнь не в жизнь, почему бы ему не открыть букинистический магазин. Отец провел с Хьюго разговор, но тот наотрез отказался расстаться с коллекцией.

— Лесли, — сказал он, — тебе этого не понять, но я должен сохранить коллекцию в целости. Ее необходимо сохранить.

А затем случилось вот что. На этом месте отец прервал рассказ: по-видимому, набирался духу. Мама налила ему чаю. Хьюго получил письмо. Лотте он письма не показал, но, прочитав его, выбежал вон. Пропадал целые сутки и вернулся лишь сегодня на рассвете — простоголовый, вымокший до нитки, лязгая зубами, — рухнул в

кресло и ни в какие объяснения вступать не захотел. Отец навестил Вассерманов, пообедал у них. Хьюго был вежлив, но неподступен. О коллекции разговаривать не пожелал. Не исключено, что он все же согласится ее продать, но хочет, чтобы его покамест оставили в покое, дали «время подумать».

— Ну и ну. Где это видано, — вскинулась мама, когда отец закончил рассказ, — оторвать человека от отдыха, а потом вести себя черт-те как, при том что ты — а кто, кроме тебя, так бы поступил? — помчался им помогать.

Отец промолчал. За стенами бушевало море, швырялось пеной в окна нашей кухни. Я счел — много я тогда понимал, — что мама говорит дело.

Когда мы вернулись в Лондон, отцу с места в карьер пришлось улаживать рабочий конфликт: в Совет синагоги Северного Лондона впервые избрали женщину, и теперь весь штат — раввин, кантор, смотритель и хормейстер — угрожали подать в отставку. «Наступает начало конца иудаизма», — так отозвался на это известие раввин, а в скобках добавил: «Женщина безрассудная, шумливая, глупая и ничего не знающая» (Притчи Соломоновы, 9:13). Отца отправили урезонивать

и тех и других.

Школьные каникулы близились к концу. Мне нужно было купить новый блейзер и запастись издающими сладостный запах предметами первой необходимости, а именно ластиком, тетрадкой, иссиня-черными чернилами и авторучкой. В волнении, хоть я и старался никак его не показывать, перед новым школьным годом Хьюго и Лотте как-то позабылись.

Однажды вечером, когда в воздух уже прокрался осенний холодок, они неожиданно появились на нашем пороге. Лотте преобразилась. Белая крепдешиновая блузка, черная атласная юбка до колен. Эффектная новомодная прическа. Радость в ней била ключом.

— Он ее продает, — объявила Лотте, даже не успев поздороваться.

Хьюго покорно проследовал за ней в дом. По-видимому, Лотте несколько опережала события. В предвкушении больших денег она в один прекрасный день решила — была не была — потратить те небольшие сбережения, которые им удалось скопить за полгода трудной и полной лишений жизни.

— Да, я ее продам, — сказал Хьюго. — Но кто знает, сколько за нее дадут?

Поздним вечером Хьюго отвел меня в сторону.

— Пройдем в другую комнату, — сказал он. — Надо поговорить.

Я ожидал, что он станет домогаться моей книги, и недоумевал, почему он медлит.

— Послушай, — зашептал он, придвинув ко мне лицо чуть ли не вплотную. От него шел тяжелый спиртной дух. — Я отдам книгу тебе. Не хочу, чтобы они ее заполучили. Она ничего не стоит, но мне очень дорога. Я хочу, чтобы ты ее сохранил. Продать ее нельзя.

Прутья нашего электрокамина — его включили первый раз за четыре месяца — оранжево светились в темноте, от них едко пахло горелой пылью. Хьюго запустил пальцы в седую шевелюру.

— А у тебя, прежде всего у тебя, — сказал он, взяв меня за плечи, — я должен просить прощения.

И хотя по моей спине волнами ходило тепло, меня прохватил холод. А Хьюго заплакал навзрыд, плечи его ходили ходуном — видно, он не мог уняться. Но тут в дверях возникли Лотте и мой отец. Они кинулись к Хьюго, обняли его, увели назад в кухню.

В этот вечер родители отправили нас с братом спать пораньше. Но в таких случаях мы, как правило, спускались с лестницы и, дойдя

до половины, примостившись на ступеньках, подслушивали разговоры взрослых. Садились, как есть, в пижамах, обхватив перила. В залитой светом кухне Хьюго начал говорить — чуть ли не шепотом, — голос у него пресекался. Поначалу мы улавливали лишь отдельные слова и фразы: «жена», «сын», «договорился», «все ждал», «обманули», «никому, даже Лотте». Пришипившись, мы слышали — так ясно слышатся паровозные свистки по ночам, — как у сидящих за столом перехватывало дыхание. Вскоре мы стали различать прерывистый, хриплый голос Хьюго.

Будь у нас с братом возможность посреди рассказа Хьюго улизнуть к себе в спальню, мы бы, пожалуй, так и поступили. Но любопытство загнало нас в ловушку.

Через десять — пятнадцать минут Хьюго прервал свой рассказ. Отец встал, выключил свет. Странный поступок. Не иначе как отец посчитал, что Хьюго легче будет пытать себя не при таком резком свете. Теперь голос Хьюго доносился из темноты.

— Коллекция, — сказал он, — коллекция прибыла в Шанхай, моя семья — нет. — И надолго замолчал. — Вскоре после войны я получил подтверждение. О моей жене. От одной из ее товарок

по женскому лагерю. Она прислала мне письмо. Но не о моем сыне… конечно же это вряд ли возможно, пусть даже невероятно, и все же. А две недели назад мне прислали письмо. Сами понимаете, шестнадцать лет. Официальное письмо: место, дата. — Хьюго глухо зарыдал. — Мой Ганс, Ганс Вассерман, Ганс Вассерман. — Он снова и снова повторял имя сына.

Прошло тридцать лет, прежде чем я открыл подаренное мне издание «Избранных сказок». Учитель моего сына — сыну минуло девять лет — пригласил родителей прийти в школу и рассказать о своей любимой сказке этой свихнувшейся на «Нинтендо»[96] ораве. Я подумал-подумал, и выбор мой пал (могло ли быть иначе?) на андерсеновское «Огниво». Та старая книжка с иллюстрациями давным-давно затерялась при многочисленных переездах. Но подарок Хьюго я все же сохранил. Это была ничем не примечательная книжка — синий потрепанный переплет, потускневшие золотые буквы. Первые страницы испещряли бурые пятна. Титульный лист горделиво возвещал: «Новый перевод миссис Э. Б. Полл». Я перелистал книгу, однако никаких

[96] Примечания: 96
Компьютерная игра.

пометок не обнаружил. Заглянул в «Содержание»: «Стойкий оловянный солдатик» был обведен еле заметным кружком. Я открыл рассказ, прочел его с начала до конца. В последнем абзаце две фразы были еле заметно подчеркнуты карандашом: «охватило пламя» и «сгорел дотла».

Коротко об авторах

МЮРИЭЛ СПАРК, урожденная Мюриэл Сара Камберг (1918–2006), писательница, поэт, драматург и литературовед, родилась в Эдинбурге, в семье с еврейскими корнями с обеих сторон. Редактировала журнал «Поэтическое обозрение» (1947–1949), издала книгу стихов «Фанфарло» (1952), несколько литературоведческих работ, но слава пришла к ней лишь после того, как она стала писать прозу. Наибольшей известностью пользуются ее романы «Memento Mori» (1959), «Мисс Джин Броди в расцвете лет» (1961), «Ворота Мандельбаума» (1965), «Умышленная задержка» (1981), «Пир» (2006).

В России Спарк начали печатать в конце 60-х годов. Ее книги переведены на более чем двадцать языков.

РУТ ПРОУЭР ДЖАБВАЛА (р. 1927), писательница и сценарист. Получила множество премий, как за романы, так и за сценарии, в том числе премию Букера за роман «Зной и пыль» (1975). Родилась в Кельне, в еврейской семье выходцев из Польши. В 1939 году ее семья уехала в Англию.

Отец писательницы, не вынеся тягот эмиграции, покончил с собой.

В 1951 году по окончании Лондонского университета вышла замуж за индийца и уехала в Индию, где прожила тридцать лет, после чего переехала в США.

Джабвала автор более десятка романов, нескольких сборников рассказов и многих сценариев к известным фильмам.

Пишет она в основном о сложностях отношений между людьми различных культур; к опыту ранних лет и эмиграции обращается крайне редко. Как считает критика, опыт этот был слишком мучителен.

На русский язык не переводилась.

БРАЙАН ГЛАНВИЛЛ (р. 1931) — прозаик, автор многих сборников рассказов и романов. Известный спортивный журналист. Публиковаться начал в двадцать лет. В 1960 году стал спортивным обозревателем «Санди таймс». Основные темы его книг — жизнь евреев в Англии и спорт.

На русском издан сборник «Олимпиец» (1989), куда вошел одноименный роман и рассказы из разных книг.

Его рассказы в переводе на русский также печатались в антологических сборниках «Спасатель.

Рассказы английских писателей о молодежи» (1973) и «Из современной английской новеллы» (1979).

АРНОЛЬД УЭСКЕР (р. 1932) известен преимущественно как драматург, родился в Степни, бедном районе лондонского Ист-Энда, в семье еврейского портного Джозефа Уэскера. Отец его был родом из России, мать — из Венгрии. Чтобы помочь семье, Уэскеру с ранних лет пришлось работать на кухне.

В 1950–1952 годах Уэскер служил в авиации. После армии работал кондитером в ресторане. В 1955-1956-м учился в Лондонской школе кинотехники, тогда же начал писать пьесы и рассказы.

Его трилогия — пьесы «Куриный суп с перловкой», «Корни», «Я говорю об Иерусалиме», в которых рассказывается об истории еврейской семьи Канов, — имела большой успех. Пьесы Уэскера шли на разных сценах мира, многие из них экранизированы.

На русский язык переведены пьесы «Корни», «И ко всему картошка», «Кухня».

КЛАЙВ СИНКЛЕР (р. 1948) родился в Лондоне. Учился в университетах Восточной Англии и Калифорнийском. Издал четыре романа и сборники

рассказов «Золотые сердца» (1979, премия Сомерсета Моэма), «Клопы» (1982), «Дама с ноутбуком и другие рассказы» (1996) и др. В 1983 году он вместе с Мартином Эмисом и Иэном Макюэном был включен в число двадцати лучших молодых английских романистов. В том же году опубликовал книгу «Братья Зингеры» об Исааке Башевисе Зингере, Исроэле Джошуа Зингере и их сестре Эстер Крейтман, в 1987 году — мемуары «Блюз диаспоры: взгляд на Израиль».

На русский язык не переводился.

ДЖОНАТАН УИЛСОН (р. 1950) родился в Лондоне. Учился в Эссекском, Оксфордском, а также Еврейском университете Иерусалима. Преподает английскую и американскую литературу в университете Тафтса (Медфорд, штат Массачусетс). Его роман «Укрытие» был издан в 1995 году.

На русский язык не переводился.





В этом сборнике шесть писателей
разных поколений (Мюриэл Спарк,
Рут Джабвала, Брайан Гланвилл,
Арнольд Уэскер, Клайв Синклер,
Джонатан Уилсон) рассказывают
о жизни евреев в Англии
в двадцатом веке: и об антисемитизме,
который существует и в этой стране
исконной демократии, и об ассимиляции
в самых разных ее аспектах —
от невозможности преодолеть
не всегда видимые барьеры
до унизительного отказа от себя,
и о многом другом. А роднит этих,
так не похожих писателей тонкий
психологизм и замечательное
чувство юмора, еврейского
и английского одновременно.



проза еврейской жизни